

МИХАИЛ АНЧАРОВ
ЭТОТ СИНИЙ
АПРЕЛЬ...

Короткие повести и рассказы ● Короткие повести и рассказы ● Короткие повести





Михаил Анчаров

Михаил Леонидович Анчаров родился в 1923 году.

В армию ушел в 1941 году, с первого курса Архитектурного института. После демобилизации (в конце 1947 г.) работал художником, переводчиком; поступил в Московский государственный художественный институт им. Сурикова на факультет живописи. Закончил его в 1954 году.

Помимо живописи, М. Анчаров начал заниматься литературой, писал стихи, рассказы, песни, сценарии. С 1967 года — член СП СССР.

За последнее время опубликованы его фантастические повести «Сода-солнце», «Голубая жилка Афродиты», «Поводырь, крокодила». Изданы повести «Тесрия невероятности», «Золотой дождь».

КОРОТКИЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

Этот синий апрель...

Повесть

Издательство
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1969

Повесть «Этот синий апрель...» — третье прозаическое произведение М. Анчарова.

Главный герой повести Гошка Панфилов, поэт, демобилизованный офицер, в ночь перед парадом в честь 20-летия победы над фашистской Германией вспоминает свои встречи с людьми. На передний план, оттеснив всех остальных, выходят пять человек, которые поразили его воображение, потому что в сложных жизненных ситуациях сумели сохранить высокий героизм и независимость. Их жизнь — утверждение высокой человеческой нормы, провозглашенной нашей революцией.

Обложка и рисунки Михаила Анчарова



Поэт должен иметь происхождение,
должен знать, откуда он.

Гете

Глава первая

СТИЛЬ КЛЕШ

Весна в том году налетела, словно крик паровоза, когда по ночам дальний медленный стук колес уносит с собой сердце, которое вместе с Благушей плывет в неизвестность.

Примчался малоизвестный мальчик на трехколесном велосипеде. — Идут! — закричал он, врываясь в тень дома и мелькая полосатыми носками.

Все кинулись к черному ходу, который, надо сказать прямо, зимой заколачивали домоуправы, чтобы спасающийся вор, вбежав в парадное, не проскакивал сквозняком на северную сторону, где анохинский шестиэтажный дом, и мыловаренный завод, и пустые ящики золотятся на закате.

Площадка первого этажа была забита детьми, в открытых дверях квартир теснились взрослые, а серые пролеты этажей дрожали под ногами процессии, которая ползла вниз по лестнице под полифоническое пение двух песен сразу: «Шумел, горел пожар московский...» и «Когда я был мальчишкой, носил я брюки клеш...»

И метались запахи одеколона «Цветочный», и одеколона «Трианон», и портвейна «III», и «Ерофеича». Дым папирос взвивался и плавал — «Северная Пальмира» и «Наша марка» с сургучной печатью. «Бокс» в этот день не курили. Капуста.

Тут Клавдия, новобрачная, зарыдала, чтобы ее заметили, а на ней жакет фисташковый с воротником из леопарда. Слезы текут по пудре, а Федя, брат, посмотрел на нее своим взором, и она унялась. Быстрые гости уже потянулись туда, где сараи и голубятни Гусева двора, и Рылина двора, и двора Косолапова, и семиэтажный панченский дом, бывший доходный. «Была весна, цвела сирень и пели пташечки», — гремела песня, и пожилые бабы топтали клумбу с татарским визгом. А потом новобрачная сидела, никому уже по пьяному делу не нужная, и глядела туда же, куда глядели и гости,

и весь дом-новостройка номер семнадцать с синими окнами, и закат из-за Семеновской, из-за пустырей, из-за ремонтного завода, закат до слез, граждане.

И туда же в сторону ворот глядел Панфилов, по прозвищу Памфилий. А было ему тогда девять лет, и его била и раздирала благушинская дворовая весна, ее запахи и страсти, и пустыри с поляной и патронными гильзами — их роняли обозы с утильсырьем. Его вела, оглохшего от песен, благушинская неожиданная судьба, и сиреневый дым Атлантиды заволакивал ему глаза.

Атлантида... Он услышал про нее из черного диска репродуктора, что стоял на отцовском столе рядом с пепельницей из резного мыльного камня, купленной в двадцатые шальные годы для красоты жизни. Гошка всегда слушал радио, уткнувшись носом в черную картонную ночь репродуктора, и все передачи были для него ночные. Он услышал однажды конец передачи о том, что потонуло царство. Золотое царство потонуло двенадцать тысяч лет назад, и он услышал слово «Атлантида». Он не знал тогда, что это на всю жизнь, но почему-то заплакал. Оттого, наверно, что ему всегда доставались только концы передач или начала, обрывки тайны и предвкушения, и ничего не давалось в руки целиком, и оставалось только изматывающее волнение. И теперь он стоял маленький, впереди всех, и смотрел на ворота. Все смотрели на ворота, но только все теснились друг к другу, и у женщин были заискивающие глаза, а мужчины дымили папиросами. Потому что от ворот-то шел Чирей.

Незаметная женщина Клавдия была сестра того Феде Федосеева, у которого было длинное лицо и характер молчаливо-пренебрежительный, а связи, неизвестно за какие заслуги, тянулись к Лефортову и Черкизову. Дом семнадцать — одна сторона на Майоров переулочек, другая — на Большую Семеновскую, а в просвете — Окружная дорога, и по весенним ночам крик паровоза.

Чирей шел легко и удобно и улыбался изычно. С ним кое-кто из панченских: Грыб в клетчатой кепке с длинным козырьком, а лицо белое, как ножка гриба, и глаза сонные; Цыган-Маша, глаза — черника, вертел головой и напевал наурскую лезгинку — ай-ляй-ляй-ля... Гармоза — русые кудри, веселый взгляд, девичий румянец заливал кожу — добрый молодец с пыльного календаря на чердаке; и Монгол шел на кривых ногах, а что выражали его глаза-щели, никому не известно, потому что в них сроду никто не смотрел, и короткими шагами двигался Рыло — долгополое пальто без пуговиц прихвачено пальцами, синяя стриженная под ноль голова, а лица и нет вовсе — рыло.

Была весна, цвела сирень и пели пташечки, когда Клавдия наконец пошла замуж. Момент был сложный. Как раз война шла между домами — панченским, где жили души просторные, и анохинским,

где жили души скупые и желчные. А дом семнадцать стоял как раз на нейтральной полосе. Все это было еще до того, как угорел рыжий истопник и дочь его Нюшка из длинноногой козы стала первой женщиной по Майорову переулку. Но уже росла-подрастала Зинка Баканова, некрасивая и нахальная, общая яростная судьба благушинской шпаны.

Чирей шел легко и удобно, большой рот его улыбался, а в глазах застыла потеря. Он всегда терял, когда смотрел вверх — жизнь проходила мимо, а когда смотрел вниз — видел щепки и мусор, стоило ли их сберегать.

Он смотрел вниз — мелела душа. Он обращал взгляд в глубину своей души — и терял окружающее, оставался один. Тогда он смотрел только вперед — и даль манила его, а потом обманывала. Он смотрел назад — но позади было беспризорничество и брошенные города. Оставалось только настоящее — загадочное, как холодный огонь.

Убийств за ним не числилось, и о кражах никто достоверно не знал, но все знали точно, как будто кто-то шептал им на ухо, — и дома-новостройки знали, и старые деревянные развалюхи, подпертые краденными телеграфными столбами, и доходные дома — анохинский и панченский, где до тридцатого года нашего столетия квартирной платы не платили и куда милиция приезжала не меньше как на трех полуторках, — все знали, что хотя он, может быть, и не проявил себя еще, но лучше бы уж не проявлял. И даже ростовские и одесские урки, наведывавшиеся на Благушу для обмена передовым опытом, и те заискивали и в разговоре с ним недостойно хихикали и приплясывали, ненавидя за это себя и его, и старались не показывать, что счастливы, когда он улыбался их стараниям. Потому что он был как меч, не выхваченный из ножен.

Один из немногих панченских, он работал постоянно — слесарем на ремзаводе. Когда он пришел наниматься, начальник кадров посмотрел на него и принял. Потом снова посмотрел — тот стоял, не уходил — и отказал. Без мотивировок.

— Не приму, — сказал начальник.

Тогда Чирей посмотрел ему в твердые глаза и улыбнулся. И ушел. А начальник волновался всю ночь, а утром послал за ним ночного сторожа Баума, бесстрашного старика, и велел прийти.

Баум жил возле котельной на первом этаже дома семнадцать с окнами на теневую сторону, и возле всегда толкалась подрастающая мелочь, и из соседнего окна смотрела Нюшка — истопникова дочка, а из окна рядом — вся материально необеспеченная семья Баумов с белобородым главой своим. Прозвище он имел Хандыр-Бандыр (за непонятный свой язык), и принимали его на работу только в ночные сторожа. Потому что он хотя и глядел всегда скромно в землю, но закон не изменил и соблюдал субботу, а ста-

ло быть, по субботам работать отказывался. А сам он был лодзинский ткач и перекочевал в пятнадцатом от жизненных непогод сюда. О, как пылали на закате красные кирпичи мыловаренного завода там, за забором анохинского дома, и голубела цинковая крыша, отражавшая небо, когда Баум пришел к Чирею с поручением, и Чирей рассеянно смотрел на длинный забор, за которым анохинский дом и мыловаренный завод с купами дымных деревьев и ворохами пустых ящиков, золотившихся на закате. О, как белела борода Баума, когда Чирей посмотрел на него и улыбнулся, а тот, как всегда, смотрел в землю.

— Ну... иди,— сказал Баум, не поднимая глаз.— Не выламывайся.

— Ты меня уважаешь? — спросил Чирей.

— Да,— сказал Баум.

А всем, даже домоуправам, было известно достоверно, что Баум всегда говорит правду.

— За что? — спросил Чирей.

— За то, что я тебя не боюсь.

— Почему? — спросил Чирей настороженно.— Мне интересно.

— Человек не может бояться человека,— сказал Баум, не поднимая глаз.

— Я тебя уважаю, отец,— сказал Чирей.

— Да,— сказал Баум.— Ты меня уважаешь. Иди работай.

Он пошел работать, Чирей, но так все и осталось — окружающие знали твердо: не оскорбит словом, не оскорбит действием — убьет. Когда он клал руку на чье-то плечо, ближайшие отворачивались, а дальние спешили уйти, все боялись — это может случиться сейчас, сию секунду, и незачем это видеть.

Сложившееся мнение! Вот отчего люди уезжают, бросают прежнюю стезю, работу, семью. Все бросают, чтобы уехать куда-то, где о них нет никакого мнения. Сложившееся мнение — нет большого тирана, ни от чего так не гибнут люди, как от сложившегося мнения. Если у человека успех и признание, если его полюбили за что-то одно, он должен и дальше тащить на себе ярмо гнусной этой любви. Человек, который обманывает ожидания, ненавистен, даже когда он дает больше, чем обещал. Человек любит копить. Он копит вещи, мнения, факты и не прощает, когда его грабят. Разве все мы не страдаем оттого, что хотим друг от друга не дел, а обликов? Бывает, что какому-нибудь скоту, умеющему вызвать симпатию, придадут в обществе больший вес, чем великому делу несимпатичного человека. А почему? Обманули! Мы тебя любили за это и за то, а ты вон что! И наоборот. Был неудачник — и вдруг удача. Считался мерзавцем — и вдруг акт благородства, слыл глупцом — и вдруг сделал открытие. Ходил в беспутных гуляках — и вдруг праведная жизнь, заполненная работой. Все равно — облапошили! Как же жить, граждане? Во что верить?!

Ах, Чирей, Чирей, голубые глаза, независимый человек закатывающегося за горизонт Гошкиного детства.

Когда в двадцать седьмом году построили кооперативный дом для рабочего класса и дом семнадцать, первая новостройка, первый корабль, поплыл по переулку, когда очистили двор от строительного мусора и проложили асфальтовую дорожку вокруг дома (первый асфальт на булыжной Благуше) и по нему помчались первые трехколесные велосипедисты тех времен, а в окнах первых этажей затрепетали занавески и застыли фикусы и загрелили первые свадьбы, то всей старой Благуше стало ясно, что это всерьез. Стройка-то, оказывается, всерьез. А где стройка, там и ломка.

Переезжали на грузовике. Памфилий это помнит хорошо: и как внесли полосатый матрас в пустую желтую комнату, и было солнце, и была первая машина в его жизни, тогда говорили — «автомобиль», а потом с шиком — «авто», потом совсем уже с шиком — «лимузин», но это не про грузовики, а про форды с брезентовым верхом и с желтыми целлулоидными окнами, а у грузовиков была резиновая груша — «би-би», а у лимузинов клаксон — «агру-ры» — так гудели ребята во дворе. А до этого Памфилий ездил только на извозчике. Один раз ездил зимой в санках.

Сели с мамой и отцом, и валенки уткнули в сено и закрыли полстью, и закинули на медный шпенек бархатную петлю. Извозчик тронул вожжи, и лошадь двинулась плавной рысцой. Приехали в клуб, в кино — первое в жизни.

В зале погас свет — и вспыхнул гигантский белый квадрат. И тут по квадрату помчался сверху вниз искристый дождь.

— Дождь! — заорал четырехлетний Памфилов.

— Нет, — сказал отец, — еще не началось. Сиди тихо.

Но Памфилий был уже в полном восторге, и вдруг дождь кончился, и по высокой серой траве пошел под музыку пианино огромный слон, серый и живой, и Гошка его сразу узнал, потому что у него зазвонил телефон, кто говорит — слон, откуда — от верблюда. Что такое телефон, Гошка не знал, а слона знал — большой зверь в детских горошистых штанах с помочами и в очках, как у страшной бабки, которая сторожила яблоневый сад возле железнодорожной насыпи и жила в шалаше из листьев.

— Мальчик, иди сюда.

Гошка вошел в пахучую темноту шалаша, и бабка взяла из груди яблочек светлую антоновку и накрошила ее в стакан с чаем.

— Пей, — сказала она, — с яблоком.

И Гошка пил чай с «яблоком», и пахло сухими листьями и ке-росиновым дымом.

Он еще и не то помнил. Он помнил, как он совсем еще маленький, и ему скучно в зимний солнечный день одному, и он вышел

из квартиры, спустился по деревянной лестнице и открыл чужую дверь, а там оказались все свои: и отец, и мать, и соседи, и все сидели за столом с едой и удивлялись, что Гошка пришел. И сосед спросил:

— Дать ему?

— Нет, что вы! — сказала мама.

— Немножко, — сказал отец.

И Памфилию дали выпить красного вина кагор — столовую ложку, Памфилий стал веселый и пьяный, и все стали сразу веселые и пьяные, и солнце било в окно, и Гошка на скобленном деревянном полу начал топтать валенками, чтобы сплясать чечетку, которую научил его танцевать веселый двоюродный мамин брат, он работал в кино и носил клетчатую кепку и полосатый черно-зеленый шелковый шарф. Гошку вынимали из кровати, когда к отцу приезжали приятели еще по фронту, усадые и без усов, ставили в ночной рубашке на стол, и он танцевал чечетку, и видел внизу веселые лица, и пел веселую частушку, которой его научил веселый двоюродный дядька:

Эррио на «Блерио»

Спустился во дворе.

Потерял доверие

Пуанкаре.

Гошка и не то помнил. Он помнил, как мама и отец ехали с фронта в Москву пятнадцать дней в пустом товарном вагоне и у них был сундук для имущества, а в нем два маминых платья, отцовская папаха и мешок муки, и с ними ехал поросенок, а Гошка еще не родился тогда. Поросенка кормили одной мукой, и он вырос высокий, с длинными ногами, и мама его стыдилась, а потом вагон остановился на путях к Москве, и отец не велел маме никуда выходить, а сам пошел искать извозчика, а вагон отцепили и стали гонять по путям, а маме тогда было девятнадцать лет, и она поняла, что пропала, а потом пришел отец и сказал:

— Не реви.

Они сели на извозчика — мама, сундук и поросенок — и поехали, а отец пошел по тротуару и только головой показывал, куда сворачивать. Отец был весь бурый от позора, так как люди шли и шли, нарядные — начинался нэп, а маме было тогда девятнадцать лет. Она ехала на сундучке с поросенком и все вспоминала, как извозчик посмотрел на ужасного поросенка, подумал и сказал, глядя на его длинные ноги:

— Рахит.

А мама все думала — ей было девятнадцать лет, — как спросить у извозчика, можно есть рахита или лучше его продать.

Отец с мамой познакомился, когда был начальником отряда по

борьбе с бандитизмом, а мама с четырьмя младшими сестрами и их отец и мать эвакуировались от немцев и остановились в квартире, где было четыре брата. Ну, конечно, все перевлюблялись, кроме мамы,—она была старшая и ей было не до глупостей. Однажды она заснула на диване днем и проснулась от какого-то рева. Она открыла глаза и видит, что из комнаты на улицу высунулся какой-то дядька и орет лютым голосом на мальчишек, чтобы они не шумели, в доме спят. Это был пятый брат — Гошкин отец. Она притворилась, что спит, и отец ушел на цыпочках. А потом мама вышла к воротам и увидела, что едет отряд. Спокойно покачивались в седлах конники, а впереди — отец, весь кожаный, и маузер в деревянной коробке. Тут все было кончено, и они поженились, и не расставались уже никогда, и мама была красивая очень. Но когда приезжали какие-то дальние старички и старушки, они говорили Гошке:

— Гоша, твоя мама красивая, но вот бабушка была...

И они закатывали глаза, потому что бабка была совсем красавица, единственная дочь, и родители с нее глаз не спускали.

Гошка еще и не то помнил. Он помнил, что у бабушки был жених — торговый работник, или, как это по-прежнему, молодой, но успешный торговец, и коса у нее была ниже пояса.

— Когда она с родителями шла по улице городка, — говорили дальние старички, — приказчики из лавок выбегали.

А потом в город пришел полк, и жених привел в гости к бабке Гошкиного деда — он был штабс-капитан и весь вечер просидел молча, выпрямившись и закинув ногу на ногу. Уже пора было уходить, а он молчал. Потом ушел и пришел на следующий вечер и так ходил всю неделю, сидел у кафельной печки и молчал, а в воскресенье бабка с ним уехала, и они обвенчались, и бабка с ним так и ездила всю жизнь, потому что у него характер был независимый и он все время ссорился с начальством и переводился из части в часть. Только устроятся как люди — опять продавай мебель, бросай квартиру и налегке трогайся с места, а уже пять дочерей. Говорят, если очень любить жену, обязательно будет дочка, а дед очень любил жену, потому что остался сиротой в десять лет и его взяли воспитанником в полк.

Гошка прекрасно помнил, что когда началась гражданская война, дед — штабс-капитан — ушел к красным, потому что характер у него был независимый. Характером дед пошел в своего отца, Гошкиного прадеда, который оставил деда сиротой десяти лет, а сам умер ста десяти лет от роду. И до самого кладбища гроб с его телом нес на плече его старший брат, кузнец, и всю дорогу до самого кладбища он плакал, что бог прибрал младшенького. А больше Гошка ничего не помнил.

И вот когда дом семнадцать обжился, и шел уже тридцать

третий год, и Памфилию было уже десять лет, домоуправление дома семнадцать по Майорову переулку решило строить в панченской стороне двора вместо забора длинную галерею индивидуальных сараев.

Как получилось, что потерялся интерес к внутреннему миру человека? Как получилось, что самые смелые люди — поэты — единственные, которые не боятся открывать, что у них на душе, и люди благодарны им за то, что, говоря о себе, они говорят за всех, — начали поучать? Может быть, единственное, чему поэт может научить людей, — это тому, что каждый человек — мир, и когда встречаются два человека в очереди за папиросами или на катке, это две галактики сближаются, и надо быть осторожным, чтобы не повредить структуру.

Думают, если признать человека мерой всех вещей, человек скажет — все дозволено, и наступит хаос. Так ведь все наоборот, ничего не дозволено. Ведь если я мир, то и он мир, и, может быть, более сложный, чем я, если мне больно, то и другому больно. Потому что кто откасался от своего внутреннего мира, тот не считает, что и у меня он есть, а стало быть, я предмет неодушевленный и делай со мной что хочешь.

Когда решили строить сарай, то свалили забор, отделяющий двор дома семнадцать от панченского двора, и на целый месяц двор дома-новостройки стал проходным, неогороженным, и через двор хлынула шпана. Взрослых это поначалу коснулось мало — они весь день на работе. Младшему же населению пришлось худо. Через двор редкой цепочкой двигалась та сила, которой матери пугали отцов, когда говорили о детях. Веселая крикливая братия, которая с утра до ночи заполняла двор и чердаки, съезжала по перилам и гремела в подъездах, казалась себе коллективом и жила легко и бездумно, вдруг рассыпалась, растаяла, как сахар в стакане, и двор опустел — дети сидели по домам. Потому что через двор волчьей цепочкой пренебрежительно двигались панченские. Они не изображали из себя коллектив. Это была стая. Проснувшееся самолюбие дома-новостройки толкало его на сопротивление. Однажды человек шесть из тех, кто постарше, окружили проходящего через двор Цыгана-Машу, невысокого парня с жилистыми коричневыми руками. Его оттеснили к стене со сладкой надеждой увидеть его испуг и сдачу. Но он только внимательно оглядел всех, а потом заложил два пальца в рот. Еще не было свиста, а уже все поняли, что дело проиграно. Потом раздался свист, пронзительный, как в былине о Соловье-Разбойнике из учебника для третьего класса, и какое-то движение прошло в группе нападающих. Движение прошло по лицам, но казалось, это дрогнули колени. Потом

в стороне панченского дома загремело железо. Не глядя друг на друга, парни дома семнадцать дунули в подъезды.

Двор опустел, и остался только Цыган-Маша и малолетний Памфилий, потому что ему было интересно — гремело железо, как будто по крышам мчалась золотая орда, а Памфилий и тогда и потом ничего не боялся, если ему было интересно. А потом вместо орды показалась во дворе старуха с серым лицом и нижними веками, отвисшими, как у сенбернара. Она волокла на веревке грудку ржавого железа и несла засаленную кошелку с бутылками из-под денатурата, направляясь к палатке утильсырья, стоявшей в конце переулочка. Они с Цыганом-Машей обменялись незнакомыми словами, оглядели окна дома-новостройки и разошлись. Пыльная старуха проползла мимо Памфилия.

— Ты свистел? — спросила она. — Хулиган...

В сумерки вылезли парни постарше и остальная мелочь. Парни потолковали о том о сем, а стая самых младших расположилась за остатками каменного забора и из рогаток дала залп по окнам панченского дома. Загремели стекла, и все разошлись по домам безнаказанно, потому что парни объяснили, что в панченские окна стрелять можно, в милицию никто не пойдет. И в тот же вечер панченские взрослые спокойно пошли по квартирам, обошли весь дом, жаловались на хулиганство и оглядывали передние, и вскоду им давали деньги на стекла. А потом весь взрослый дом семнадцать вздул своих детей.

И дом затих, молча сглотив поражение, опозоренный в чем-то самом главном. Стало казаться, что дом семнадцать, где жили люди рабочие, — это не корабль, рассекающий волны мещанского и блатного моря, а флотилия плоскодонок, принявшая форму корабля.

И дом затих. Прекратились игры в казаков-разбойников — устарели, а кинокартины «Чапаев» еще не было. Ребята постарше налегали на занятия в школе, и у них резко повысилась успеваемость. А кто помладше — сидели по домам. Во дворе гуляли только мамки и няньки с младенцами на руках, потому что колясок тогда не было, и бродил одичавший Памфилий, которому все было неинтересно.

И однажды мама сказала:

— У отца сегодня собрание. Билет пропадает. Пойдем в кино, муха.

Гошка в кино бывал реже, чем бы ему хотелось. Гошка не видел ни «Месс Менд», ни «Два друга, модель и подруга», ни «Крымский разбойник Алим», и его спасало в общем мнении только то, что он видел легендарного Гарри Пилу, который взбирался по вертикальной стене и прыгал через пропасти. Конечно, он смотрел «Броненосец «Потемкин», но это совсем другое. Это был флаг

на мачте мятежного броненосца, это было «погибаю, но не сдаюсь» и потому побеждаю. Это была истина, и говорить об этом во дворе не полагалось — подкатывали слезы гордости — и можно было только иногда пролезть через душный чердак, лечь на горячую крышу и плыть среди облаков, и над тобой трепетала алая капелька флага. Это было время, когда не говорили «знамя», а говорили «флаг», и на работу поднимались не по мелочному звону будильников, а по общему заводскому гудку. И когда дом затих из-за проклятой выдумки с индивидуальными сараями, было такое чувство, как будто кто-то безнаказанно сорвал флаг с древка.

«Колизей» — кинотеатр на Чистых прудах — был отделан с вызывающей роскошью. Свет в зале медленно угасал, — и медленно светлело пятно экрана.

— Ну, теперь слушай внимательно, — сказала мама.

— Что слушать?

И вдруг раздался басовитый хрип, экран вспыхнул, и стала поворачиваться на экране какая-то башня с косо идущей лентой букв.

— Что слушать? — спросил Гошка.

Но он уже понял. Экран звучал.

Долго еще потом писали на афишах — новый звуковой художественный фильм — такое было ошеломление от звука. И только потом, много времени спустя, исчезло в афише слово «новый», а потом и «звуковой», и было бы честней и последовательней иногда убрать и эпитет «художественный». Ибо какое же искусство без новизны? Разница между искусством и искусственностью такая же, как между «Каховкой», которую когда-то пел Баталов, — и в ней были и ветер, и флаги, и топот коней, и «Гренада», и «Интернационал», и человеческий голос, спокойно выговаривающий слова, — и «Каховкой», которую теперь в юбилейные дни передают по радио, и в ней нет ничего, кроме симфонического оркестра, отличной успеваемости выпускников Московской консерватории имени Чайковского и жирного баритона, мусолящего слова о горящей Каховке и бронепоезде. А Баталов перекачивал папироску из угла в угол большого рабочего рта и не давал прикурить счастливому беспризорнику Мустафе.

Кончился фильм. Финка блеснула на лунных рельсах. Зарезали веселого беспризорника Мустафу, ставшего рабочим человеком. Но мчится паровоз, и вечно лететь ему вперед, вечно нести память о рабочем народе, тысячи лет ходившем в беспризорных.

Что-то изменилось во дворах после «Путевки в жизнь». Какой-то свежий ветер пронесся по дворам, хлопнул форточками домов, начавших костенеть в быте, шевельнул белье на веревках и заглушил писк педагогических дев. Спокойней и растеряней пошли через двор панченские, впервые услышав, как сказано на весь белый свет: вы ведь люди... опомнитесь... а раз люди — значит, ра-

бочие,неважно, как вы называетесь — крестьяне, пролетарии или художники, а все остальные не люди,неважно, как они называются — кулаки, буржуи, мещане или фашисты.

Не может быть, не может же такого быть, чтобы после этой картины не вошел во двор курносый человек с большим ртом и не сказал, как жить дальше. Потом только Гошка понял, как он сам ждал этого человека, и панченские ждали, а человек не шел, и нельзя было больше ждать.

И однажды шестеро панченских подошли к Памфилию, и бежать было некуда, и свистеть он тогда не умел, да никто бы и не пришел на свист из деморализованного дома.

— Ну, ты...— сказал Гусь.

Он был младший из них, и ему не нравилось, что Памфилий не боялся, и не остальным же было связываться с букашкой, которая мозолила глаза,—остальные только смотрели с брезгливым интересом.

А Гошка вздохнул с облегчением. Он увидел, что от ворот идет отец, усталый после работы. Он только опасался, что отец не заметит его и не успеет подойти раньше, чем Гошка почувствует режущий удар в лицо. Он только опасался, чтобы отец не нарвался на случайный нож, когда будет раскидывать панченскую шпану тяжелыми кулаками, и уже приглядел булыжник, который можно опустить на голову того, кто в суматохе выдернет перо из клифта и попытается пописать отца.

— Шухер,— сказал Рыло, и Гусь отодвинулся.

Отец заметил Гошку, подошел и сдвинул кепку ему на нос. Потом скучно оглядел всех и спросил:

— Спички есть?

Чирей, сощурившись, протянул спички. Отец достал пачку «Норда», размял папиросу, сунул в угол большого рта и только тогда взял спички из протянутой руки, закурил и не глядя протянул пачку остальным. Панченские взяли по папироске и внимательно задымили. Отец спрятал пачку в пиджак с отвисшими итээровскими карманами, в которых болтались карандаши, и спросил уходя:

— А почему к тебе товарищи в дом не приходят?

— Не знаю,— сказал Гошка.

— Значит, не уважают,— сказал отец.

И пошел к дому по скрипучей асфальтовой дорожке. Хотя он так и не посмотрел звуковой фильм «Путевка в жизнь», видимо, считал, что поступать надо именно так.

Вот когда Гошка испугался — кто же не боится предательства? И еще он боялся, что панченские увидят, как он боится.

А панченские смотрели вслед отцу, пока он не скрылся в подъезде.

— Пошли,— спокойно сказал Чирей и подбородком позвал Гошку.

И Гошка вместе со всеми двинулся в загадочную и мрачную панченскую страну. Гошка понимал теперь, что так надо, что так лучше всего, что, если отец оставил им сына — значит, это всерьез, значит, они люди, а не пугало, и сын не заложник. И Чирей идет рядом и не даст утонуть, а научит плавать, как отец учил Гошку плавать и держал Гошкину голову над водой, пока тот не догадался, что плывет, и как отец совсем в детстве позволил ему курить, когда он попросил, и сам поднес спичку, мама закричала: «Что ты делаешь?!» А отец сказал: «Теперь вдохни».

И Гошка задохся и заревел: «Я хотел без огня!» — и сразу стал умный. И не курил до девятого класса.

Чирей наложил табу на Гошку, и ни разу никто не позвал его, когда брали ларек, или стоять на стреме, или выпить водки, или понюхать марафету. И Гошка только видел, видел, как Грыб играл в карты, а к нему в карман лез какой-то сивый, и Грыб не оглядываясь бил его по физиономии, а тот снова лез — учился работать чисто; и слышал, слышал, как пели страшные рассказы о проданных малинах, о киперах и медвежатниках, о фармазонщиках и уркаганах, о бери-мере-ойс и о Мурке, погибшей красоте. И Гошка пел, пел все эти песни и еще одну песню, которую знал только он и которую больше всего любил Чирей, — «Прощай, товарищ дорогой... я вдалеку иду вслед за водой — в дорогу, в дорогу... в дорогу...» Эту песню написал один немец, по фамилии Шуберт, и Чирей, когда слышал ее, утыкался лбом в стекло на лестничной площадке доходного дома, вонявшей кошками, и скрипел зубами.

И мама не могла привыкнуть к товарищам, которые чинно приходили к Памфилию в гости и делали вид, что не ждут отца, и помаленьку, матерясь и ерничая друг перед другом, поступали на заводы «Ламповый», «Ремзавод» и «АТЭ-1» и помаленьку уходили от Гошки, когда к нему пришла любовь и пропал его голос-альт, потому что у панченского дома тоже ломался голос, пока не появился наконец спокойный рабочий бас.

Но все это было потом, уже после того как погиб Чирей.

А теперь Чирей шел по двору, и с ним кое-кто из панченских, и свадьба замерла, ожидая событий.

Федя, брат Клавдии, имел лицо длинное и характер молчаливо-пренебрежительный, а связи, неизвестно за какие заслуги, тянулись до Лефортова и Черкизова. Глаза у него были водянистые, и из всего рабочего населения дома номер семнадцать он один занимал какие-то странные должности, связанные со складами, базами и закрытыми распределителями. И для Клавдии, незаметной сестры своей, нашел жениха с правильными взглядами на жизнь. Лица его никто не мог запомнить, поэтому он всегда здоровался первый,



...осталось только настоящее, загадочное, как холодный огонь.

однако знали все, что был он хотя и пуглив, как мышонок, но пугливость свою прогонял, когда видел даже микроскопическую цель для своей энергии и предприимчивости. Нельзя сказать, чтобы он первый кидался в бой за какую-нибудь корысть, такого Федя рядом с собой не потерпел бы, но он всегда оказывался первым там, где корыстью поваливало. Не успел дом семнадцать оглядеться, как жених Клавдии уже обнаружился в домоуправах, и идея насчет индивидуальных сараев принадлежала ему. И весь дом, соблазненный деревенскими мечтами об индивидуальных ледниках, где бы стояли бочоночки с солеными огурцами и кислой индивидуальной капустой, чего-то недоглядев, оказался у него в зависимости. Поэтому когда через поваленный забор хлынули блатные, то не было того оттенка пугливой ненависти, которого не нашлось бы в палитре художественно причесанного жениха Клавдии, когда он, озираясь, говорил о панченских. И если остальных панченских он понимал, потому что всю жизнь так или иначе покупал и перепродавал их пьяное отчаяние и лютое бездорожье, то Чирей был ему начисто непонятен. Жених только раскрывал рот, немел и задыхался и называл его «он», и каждое третье слово о Чирее было слово «убийца». И это слово утвердилось в сознании всех и сложилось как мнение, как сургучная печать на пакете с приговором, как ржавый гвоздь, что вбивает в гроб, в котором хоронят репутацию.

Поэтому Чирей был приговорен. И приговорил его этот крысеныш, а остальные санкционировали, потому что, как это часто бывает, каждый думал, что таково мнение остального общества. И в особенный ужас вгоняло Клавдиного жениха, что Чирей знал, кто поставил сургучную печать. Разве удержишь слух, если все, кроме жениха, знали, что Клавдия три года сопротивлялась брату Феде и не шла замуж, потому что сохла по Чирею, которого она часто видела из окна, когда он стоял со шпаной на углу переулка, а потом, оторвавшись от земли, влетал в задний вагон трамвая третий номер, который по Семеновской мчался покачиваясь, а Чирей вскакивал в вагон, как только Клавдия сблокачивалась на подоконник.

И только однажды они встретились глазами, когда весь двор, все дворы вдруг заголосили, закричали ребячьими голосами, и из-за школы-новостройки, над плоской крышей ее, вдруг начало выдвигаться огромное тело, оно росло, тупорылое, лезло в небо серебряной тушей, и наконец над Семеновской, над Благушей, над дворами, медленно, как во сне, поплыл дирижабль.

Тогда все стояли, задрав головы, на углу переулка, и вдруг Федя заметил, что Клавдия смотрит на Чирея, а он на нее. И Чирей ушел, и Федя увел Клавдию, и дирижабль улетел.

И вот теперь Чирей шел легко и удобно в шевитовом костю-

ме. Он шел поздравлять новобрачную, и с ним кое-кто из панченских. Была весна, цвела сирень и пели пташечки, и все стояли столбами и смотрели, как приближается неизвестно кто, а значит — убийца.

Только Клавдия и домоуправ сидели на вкопанной скамье, и у Клавдии все шире открывались глаза, а у жениха — рот.

Чирей подошел с папироской в зубах и остановился перед скамьей.

— Поздравляю вас, Клаша,— сказал он тихо.

— Граждане!..— пискнул жених и схватился за грудь, где у него лежал бумажник.

— Не надо нервничать, мышонок,— сказал Чирей и достал из пиджака маленький браунинг.

Все онемели. Все ожидали ножа, может быть, кастета или гири с цепочкой, и были готовы к ним, потому что дом уже обрел себя и стал силой. Но только не этого все ожидали.

Чирей протянул руку, сверкнул огонь. Жених упал.

Огонек горел. Чирей прикурив папироску от зажигалки-пистолета, которую все приняли за браунинг.

Потом обратили внимание на лежащего жениха. Он был мертв. Он умер со страху — сам себя убил. Разбилось мышинное женихово сердце.

Потом Чирея забрали, и он исчез, пропал. И победило сложившееся предвзятое мнение.

Столько лет прошло, и вот уже наконец Гошка понял — это был первый поэт, которого он встретил в своей жизни.



Глава вторая НАСТОЯЩЕЕ НЕБО

1

...И вот теперь Гошка с этим человеком в поскрипывающих сапогах полез в гору.

Это была курортная гора, и до самой вершины ее опоясывали витки каменной дороги. Но все-таки в ней было что-то лермонтовское, гусарское. Черкешенку здесь, конечно, не встретишь, но Гошка не удивился, если бы, касаясь камней осторожным зонтиком, по дорожке прошла княжна Мэри. Гошка долго не мог понять Печорина. Ему казалось, что можно влюбиться даже в печальный звон ее имени — княжна Мэри. Княжна Мэри, потом Ассоль, потом Аэлига — имена этих книжных девушек были как ступеньки горы, ведущие от курортного балагана к чистой вершине.

Просто Гошка не знал тогда, что вступает на опасный путь лирики, не знал еще, что все клетки его, вся кровь, доставшаяся ему в наследство от тысяч медленных поколений, от веков, уходящих к Атлантиде, которая хотя и утонула в считанные незапамятные часы, но все равно была, что тысячи веков его наследства уготовили ему тоску по встрече — и не с супругой даже, и не с возлюбленной, а с подругой.

Он не знал этого, бедный парень, но не хотел идти по тягучей дорожке. Он хотел пересечь ее витки и карабкаться прямо к вершине, продираясь через хаос замшелых камней и мокрых листьев, хватаясь руками за черные заросли.

Гошка добирался до светлого поворота дороги, поджидал спокойно идущего человека и лез дальше сквозь редющий к вершине кустарник.

И вот наконец они сошлись на последней площадке горы, где была каменная скамья, и заросли внизу, и серые тучи над головой. И огромный воздух кинулся Гошке в легкие, и воздухом наполнилось его сердце.

Человек посмотрел в сумасшедшие Гошкины глаза и взял за плечо тяжелой рукой.

— Ну, давай вниз,— сказал он.— Тебя как зовут?

— Гошка.

И они спустились в Кисловодск.

Гошку трясло и тошнило.

Перед длинной деревянной лестницей, которая белела в сумерках на травяном склоне, у Гошки закружилась голова, и он потерял сознание. И человек подхватил его на руки и отнес домой.

— Это от высоты. Перебрал,— сказал он маме.— Дайте ему молока.

Кисловодск — это такой город на Кавказе. А что такое Кавказ — знает каждый. Ну что может случиться в Кисловодске необычного? Разве что испортишь желудок в столовой «Храм воздуха» или украдут штаны в минеральных ваннах.

Четвертым за столик сел человек с головой, бритой наголо. У него были покатые плечи и глаза, сощуренные по-степному.

Мама убрала со скатерти панаму младшего брата Сереги.

— Спасибо,— вежливо сказал человек.

Подали щавелевый суп, и четырехлетний Серега стал с силой тягивать жижу с ложки.

— Не хлюпай,— сказала она, покосившись на человека.

Тот спокойно ел, глядя в тарелку, но щеки у него не вздувались буграми, когда он жевал хлеб и бесшумно запивал его супом.

Гошка попробовал так есть, но у него ничего не получилось.

Человек хорошо ел. Почти как отец. Только спокойней и не читал за столом. Отец хорошо ел. Всякая еда казалась вкусной, и даже Серега не канючил. Гошка любил, когда так едят. Любил, когда это похоже не на обжорство, не на баловство и не на брезгливое принятие пищи и даже не на утоление голода, а когда это больше всего похоже на работу. Много лет спустя в фильме «Судьба солдата в Америке», так ел итальянские макароны один второстепенный гангстер и запомнился, потому что был личностью.

Человек взял стакан киселя и выпил его одним большим глотком. Поставил на стол и тихонько подмигнул разинувшему рот Сереге. И Гошка испытал укол ревности, потому что этот человек не понял, не разглядел, кто из троих Панфиловых самый интересный.

Серега склонил голову набок и сказал красноречиво и печально:

— Ма-а... я хочу-у...

Мама испуганно покраснела.

Человек поднялся.

— Встретимся за ужином,— сказал он.

И почти не поворачивая головы, кивнул Гошке:

— Пошли...

И Гошка, сбежав со ступенек, пошел рядом с ним, испытывая спокойный восторг, потому что для этого не было никаких оснований. Он шел за ним как привязанный, глядя на тугую спину, синие галифе и поблескивающие чистые сапоги.

Это было настоящее. Это была настоящая мальчишеская дружба с первого взгляда.

Гошка ничего не знал об этом человеке, но понимал, кто он такой. Он настоящий.

Гошка всю жизнь хотел только настоящего, и это было у него главное, если не вовсе единственное положительное качество. Так он считал.

Что он вкладывал в это слово, он и сам не знал. Только все ненастоящее казалось ему декорацией — все равно как нарисованное небо в кино.

Однажды Гошку привезли на киностудию и через какие-то гаражи и лестницы провели в желтую комнату, и там был стол со стеклянным окошком, а сбоку колесо с ручкой.

— А для чего окно? — спросил Гошка.

— Господи, да стой же ты, стой,— сказал веселый Гошкин дядька, кинематографист.— Сергей Сергеевич, присмотрите за ним.

Дядька привел в комнату двух красивых женщин. Одна из них была Гошкина мама, а другая тоже была Гошкина мама, но только не из жизни, а из будущего фильма про героического мальчика и про гражданскую войну. Женщины смотрели друг на друга и улыбались.

Мама из фильма протянула руку и хотела погладить Гошку по голове, но он успел увернуться.

Мама из жизни вздрогнула и тоже протянула руку погладить, но Гошка опять не дался. Он тогда еще не любил этого.

Когда актриса вышла, мама сказала:

— По-моему, эта актриса не подходит на роль матери.

Дядька ответил:

— Она то же самое сказала о тебе.

А Гошке уже строили суконную черкеску и перешивали белую текинскую папаху с рыжей подпалиной, он уже держал в руках кинжал, слонялся по студии и видел раздражающие чудеса — рояли, не издававшие ни звука, каменные стены крепостей, которые можно было проткнуть ботинком, и седую улицу белых украинских мазанок, которые он так любил.

Глиняные полы, плетни с горшками на кольях, месяц над черными тополями, мягкая пыль дорог и ветряки на косогорах, сол-

нечная запруда у мельницы в селе Звонковое-Сподарэць, где в золотой жаре, гудении шмелей и треске цикад он две недели ловил плавную бабочку махаон — бархатное виденье, — пролетавшую над полосатой от теней дорогой, по которой он однажды дошел до станции, и бабочка махаон ушла к солнцу, и загудели рельсы, и к станции подползла тяжкая громада бронепоезда. А потом на деревянном настиле между рельсов красноармейцы лупили «Яблочко» под гармошку, а над стволами коротких пушек дрожал раскаленный воздух, как будто за горизонтом бой и летят потные лошади и пулеметы на бричках, как на желтых фото у отцовских приятелей, и как будто это все давным-давно, и нет еще солнечной запруды у мельницы, где в белой пене целыми днями ныряют сельские ребята. А за запрудой была стоячая водяная гладь с травяными островами, и уже при первых звездах оттуда тянули хлюпающее чудовище, сома-гиганта, который глотал курей и собак и переворачивал долбленки рыбаков, и на утреннем прохладном базаре в рыбном ряду его рубили на пласты и торговали сомятиной, и белые мазанки сверкали голубыми рассветными окнами, и сельская улица петляла вдаль, вдаль, к самому горизонту, а не утыкалась в ненастоящее, дешевое, нарисованное небо, как здесь, на киностудии.

...Что же касается бежевой черкески, то мама выпросила ее у дядьки для поездки в Кисловодск, а отец сделал из жести сентиментальный кинжал.

В те годы поехать в Кисловодск было все равно что теперь в Монте-Карло. Теперь вон каждое лето, а то и зимой студенты сбиваются в компании: «Махнем на юг? У нас там компания каждый год. Поехали, старик?» — «Куда? Вы с ума сошли! Ведь это денег нужно чертову прорву!» — «Да это ты с ума сошел, старик! Будем жить в палатках, на еду тратить меньше, чем здесь, а обратно доберемся как-нибудь. Да господи, о чем задумываться!»

А тогда поездка на курорт была делом ответственным.

Отец подумал-подумал и сказал матери:

— Какого черта! Премию я получил.

Премию он получил. Рационализатор. В газете «За индустриализацию» его хвалили.

— Поедешь с детьми на Кавказ.

И он ткнул пальцем в школьный атлас.

...В номере доели остатки московской еды, мама пошла искать комнату, а Гошка вышел на балкон.

Пасмурная улица уходила вниз. За каменной стеной чернели войлочные пальмы. Серое небо моросило дождиком, и вдоль тротуара в водоворотках крутились спички.

И вдруг Гошка увидел дивное диво, чудо, сон. Снизу вверх по белым камням мостовой поднимался всадник. Угловатая бурка, застегнутая у горла, накрывала лошадиный круп. Мягкие ичиги в

стременах. Цепкая рука на поводьях. Сказочный ахал-текинец перебирал копытами и кланялся змеиной шеей. Это было настоящее, а не в кино.

Гошка окостенел на балконе, а горец что-то крикнул, хлестнул плеткой коня и исчез в искрах и серебряном клаянэе подков.

Гошка раскрыл чемодан, вытащил амуницию, оделся, осмотрел себя в пузырчатом зеркале шкафа и, положив руку на кинжал, вышел из номера.

Он долго бродил по улицам, зорко оглядывая молчаливые пасмурные дома, но никого не убил и никого не защитил. А потом ему вдруг стало стыдно.

Он вернулся в гостиницу и снял черкеску.

Откуда пришел стыд, он знал. Он же не горец, а просто вырванный в черкеску московский мальчик двенадцати лет, которого привезла мама, и потому он не настоящий, а нарисованный. Ну, проехал горец в красивой одежде. Значит, у них такую носят. А у нас носят другую. Мятые штаны с отрывающимися пуговицами и москвошвеевскую кепку с написанной чернилами ценой на подкладке, и неувядаемую рубашку-апах, и еще носят сиреневые футболки с подкатанными рукавами, и пайковый хлеб в кошелке, ситный и пеклеванный, и слипшиеся комки конфет-подушечек.

Он вернулся в гостиницу, снял нарисованную черкеску и больше не надевал ее никогда, как больше никогда не носил лука со стрелами, не втыкал в волосы журавлиных перьев, не дрался на шпагах за мадам Бонасье. Гошка понял, что он не хочет играть роль, и сказал — «на фиг» и что не пойдет в артисты.

Кстати, злополучную картину, конечно, закрыли. Потому что от сценария остались, как обычно, одни поправки, и на студии, как обычно, очень кричали взрослые.

И в дальнейшем Гошкины карьеры рушились из-за тех же самых причин — из-за ревности близких, из-за поправок, которые навязали посторонние, и из-за того, что он сам говорил — «на фиг», когда видел над головой вместо журавлиных облаков дешевое нарисованное небо.

А потом Гошка прилип к этому человеку и ходил за ним, как собачонка. Но это знал только Гошка, а всем окружающим казалось — нет, не собачонка, а просто двое молчаливых друзей прогуливаются по скрипучим дорожкам, пьют нарзан и обмениваются скучными мужскими словами. Но насчет скучных слов опять же знал только Гошка, а всем окружающим казалось, что Гошка трещит без умолку, шагая рядом с лысым мужчиной. Никогда еще Гошка столько не разговаривал. Он говорил не переставая, заговариваясь до одышки, и ночью лежал в постели, разинув рот и выпучив глаза,

как дохлая рыба на песке, и все вспоминал — чего он еще не договорил и какую мысль надо будет развить завтра. Так что даже если Гошкин монолог поделить поровну на двух человек, то и тогда это было бы похоже на диспут двух трепачей.

Впрочем, и потом в случаях острой влюбленности Гошка или молчал не переставая, или безмолствовал и таращился, как окорок на витрине.

А потом Гошка потерялся.

Это случилось после того, как он посмотрел немой фильм «Тихий Дон» и ему понравились и Аксинья и Григорий, но дело не в этом, а в немце. Там в одном кадре мелькнуло и задержалось лицо немца, которого Григорий на войне проткнул пикой.

Гошка в кино ничего никому не сказал, спокойно пошел домой и перестал болтать совсем, а этот человек на него поглядывал и даже разговорился с мамой и Серегой. И только ночью Гошка не мог заснуть, не мог больше сдерживаться, заплакал, и не с кем было поговорить. Немцу было страшно, и он кричал, а Григорий уже не мог остановить пику. До сих пор Гошка думал, что всегда можно добиться прощения, если очень кричать. А этого не простили. Мама поднялась и спросила:

— Что с тобой?

— Немца жалко.

И мама очень долго стояла в темноте черным силуэтом. А потом сказала:

— Это кино. Это не настоящее. Спи, сынок.

И Гошка хотя и сам знал, что кино, и это ему не помогало, тут вдруг сразу успокоился и заснул.

А наутро пришел этот человек и сказал маме, что нашел ей другую комнату, не на окраине, на горе, а близко от столовой, в центре, и недалеко от его собственной комнаты, и если ребятам что нужно, то он будет под боком. И мама сказала, пожалуй, надо переехать, а то здесь слишком мрачно и по ночам дерутся караевские парни.

И тут послышались крики с улицы, и хотя светило солнце, опять началась драка и пробежали какие-то люди, а потом милиционер. И человек этот и, конечно, Гошка за ним подошли к толпе, и вдруг кто-то оглянулся и пропустил человека, а потом еще кто-то оглянулся, а кого-то он сам отодвинул тяжелой рукой, и вдруг драка утихла, потому что все расступились, и мужчина с разбитым ухом вытаращил глаза, снял кепку с длинным козырьком и сказал по-русски:

— Здравствуйте, товарищ Соколов.

И зашелестело... Соколов... Соколов... Так Гошка впервые услышал его фамилию.

А потом, конечно, о драке никто и не вспоминал больше, все

закурили и уклончиво спрашивали, как ему здесь отдыхается, и по лицам было видно, что никто не верит этой басне, этой липе, этой туфте, что Соколов просто так отдыхает на курорте, потому что все прекрасно помнили, как он здесь кончал банду Джямала, а Соколов, конечно, зазря не приедет в Кисловодск, и Гошка совсем онемел, потому что он угадал, угадал этого человека, и ему казалось, что в толпе шелестит: «Панфилов... Панфилов приехал... Памфилий зазря не приедет...»

А потом Соколов весь день провел с Гошкой и даже говорил о чем-то, но Гошка презрительно не запомнил ничего, потому что он изнемогал от гордости и обиды, так как по дорожкам парка ходили и останавливались у книжных ларьков военные со шпалами и ромбами, и у них сияли на гимнастерках ордена Красного Знамени.

Соколову надоело Гошкино молчание, и он понял, что иначе нельзя, сходил переодеться и вернулся с двумя орденами Красного Знамени, и Гошка стал совсем счастливым, и теперь было все хорошо и справедливо, а в ушах у него шелестело: «Памфилий даром не приедет... Это он разбил банду Джямала, и на груди у него сияют боевые ордена».

А мама тем временем переезжала на новую квартиру, и адреса Гошка не знал.

Уже поздно вечером, когда толпы отдыхающих бродили по улице под названием Пятачок, Гошка отошел к ларьку купить почтовой бумаги с синей картинкой, изображавшей горы. А когда вернулся на старое место, не нашел ни мамы, ни Сереги, ни Соколова — толпа все перепутала, и Гошка потерялся.

Гошка и раньше терялся и потом. Но теперь Гошка потерялся в чужом городе, и все уже разошлись, и где-то, наверно, метались и искали Гошку мама и Соколов.

В милиции горел свет, и вдаль уходил коридор с каменным полом, как в школьной раздевалке, и Гошка не решался войти. А в руках у него была книжка. Он таскал ее с утра и читал на скамейках, когда кто-нибудь останавливал Соколова, и они выкуривали по папироске. А теперь в книжке были заложены эти проклятые листки бумаги с синими картинками Кавказа, и они все время вываливались. Ну, наконец Гошку заметили и отдали какому-то молодому дядьке, который раньше работал в милиции, и у него Гошка может выспаться как следует, а утром разберемся.

И Гошка пошел с ним все дальше и дальше от освещенных улиц, и все громче лаяли собаки, когда они с этим дядькой перелезали через дувалы, и Гошка подумал, все дальше от дома, и ничего не поделаешь, и надо идти, и все ярче светили звезды.

Они вошли в хату, на столе горела керосиновая лампа и сидела

жена молодого дядьки со своей приятельницей, и Гошка сел на стул и пытался читать свою книжку, глаза у него слипались, а на сердце было тесно и пусто, и он только слышал, как жена и приятельница пилили этого дядьку за болтовню с курортницами и забыли про Гошку, у жены и у дядьки не было детей, и оттого все несчастья, и у Гошки на сердце было то пусто, то тесно, и жена все время поглядывала на Гошку непонятными глазами, а потом спохватилась, что он не накормлен. Но Гошка от еды отказался, и она уложила его спать за занавеску на мягкую перину, постеленную на сундук. Гошка положил голову на ситцевую подушку без наволочки, и женщина погладила его по голове и долго стояла рядом, а потом ушла допиливать мужа за то, что у них нет детей. И Гошка ощущал неуют и чужую ласку и первый раз костенел от тоски по дому, который он с тех пор так и ищет всю жизнь.

А наутро пришла за Гошкой женщина из милиции, но муж и жена не отдали его и сказали, пусть поживет у нас, и вообще если родители не найдутся... Но тут Гошка выскочил на холодный утренний двор и увидел, что идет Соколов, перешагивая через низкие дувалы, сложенные из белых камней, и молодой дядька увидел Соколова и закричал шепотом:

— Товарищ Соколов...

Оказалось, что он бывший вестовой Соколова, и все сразу наладилось.

Мама плакала в новой комнате, которую она сняла, — с высокими окнами, как в больнице, и с белой дверью, у которой были стеклянные синие ручки с двух сторон, и Серега щелкал замком и, когда никто не смотрел, пытался лизнуть ручку. И Гошка тогда подумал впервые, что дети, наверно, все-таки для чего-нибудь нужны, если все к ним тянутся. Вот и Соколов тоже.

А Потом Панфиловы наконец уехали с Кавказа.

И поезд стучал: тука-тук, тука-тук, и проплывали сначала кипарисы и горы, а потом тополя и мазанки, и пятнистые коровы топтали ромашки. С визгом и шелестом налетали на окна березовые рощи, и Кавказ вспоминался как одна пасмурно-весенняя гора, на которую Гошка лез в первый день приезда и на вершине признался, что его зовут Гошка.

Много раз в жизни потом, увидев вершину, Гошка по забывчивости лез напролом, и глотал воздух, и падал замертво. А потом поднимался и все равно шел обратно, не пропуская на этот раз ни одного витка. И многие близкие озлоблялись. Потому что ведь они видели его, обессилевшего, на пороге дома, а теперь он сбивал с толку, спутывал карты силы и слабости, и все удивлялись, как это у него хватало пороку дойти до вершины. А чему было удивляться, ведь он уже был там однажды и глотал серое небо.

Во дворе Гошка, конечно, никому не рассказал о Соколове, но

думал о нем все время. А рассказывал после приезда только о скучных киночудесах, и все слушали его с интересом, потому что на Благуше любили достоверные сплетни.

Гошка рассказывал, как делают геройские поступки вроде тех, что совершал незабвенный Гарри Пиль,— например, человек лезет по вертикальной стене. Оказывается, рисуют на полу кирпичную стену, и человек ползет по полу, как червяк, а его снимают, завалив камеру набок, и потом показывают прямо, и получается, что человек лезет вверх, как герой, цепляясь неизвестно за что, по вертикальной стене, а на самом деле он червяком ползал по полу. И потому все киноподвиги — липа.

И наступило молчание, когда Гошка рассказал об этом.

— Не верите? — спросил Гошка. — Чистая правда.

И потом кто-то сказал безразличным голосом:

— Да, конечно.

И все перешли к текущим дворовым делам, но что-то случилось все-таки. Никто ничего не мог понять, и Гошка ничего не мог понять, только всем было ясно — что-то произошло. И Гошке дали обидную кличку.

А потом на старое трухлявое дерево, о котором ходили слухи, что его скоро спилят, так как оно жило только одной своей половиной и могло однажды обрушиться, на толстый сук этого дерева закинули длинную проволоку, а внизу приладили доску. Сук был на уровне третьего этажа, поэтому размах качелей был медленный и огромный, и один садился на доску, а остальные его начинали раскачивать, зацепив проволочным крючком за сиденье, и седок, задрав ноги, чтобы не задеть за землю, летел все быстрее над самой землей, и мимо проносилась серая пелена анохинского забора, и все длиннее путь, и все яростнее полет. И после своего рассказа Гошка понял, что все ждут, когда он сядет на летящую доску, а потом закричит: «Хватит!», как все кричали, когда становился через забор виден анохинский двор, на бугре. А Гошка все не кричал, и ребята пролетали мимо, пролетали озверелые лица, анохинский двор становился все виднее, и уже можно было различить крыши его сараев, и дальние помойки, и даже кусок следующего двора по Майорову переулку, полуживое дерево стонало, а Гошка не кричал.

— Хватит! — крикнул Мишка Баканов, самый старший во дворе.

И зацепил крюком пролетающую проволоку.

Все повисли на крюке, проволочная петля качелей пошла вбок, переклестнулась винтом, и Гошку чуть не вынесло с доски. Он еле успел соскочить на землю, свалился на четвереньки и на расшибленных коленках отполз от рушащегося с деревянным криком огромного сухого серого сука.

Тяжкий удар в землю, скрип деревянных лохмотьев, топот убегающих ног.

Потом ребята вернулись. Дерево раскололось сверху донизу и обнажило светлую, как коровье масло, живую древесину. А на земле, до самой асфальтовой дорожки, опоясывавшей дом, валялся серый сук. И возвышаясь над помойками, над серыми заборами, разделявшими дома, лоснясь сливочной молодой сердцевинкой и шелестя листьями, стояло веселое дерево Благуши.

И Ванька Семин подошел и дал Гошке по шее, и Юрка с двойным прозвищем Шаляпин — Распутин расколол ему пуговицу канцелярской кнопкой, надетой на распяленную в пальцах резинку, и Мишка Баканов повторил страшную для самолюбия кличку — «ощипанный ковбоек», которая теперь звучала не обидно, а с какой-то ровной лихостью.

Потом отнесли серый сук в конец двора за недостроенные навечно сараи и перекинули его к панченским, и там, у панченских, вскоре заработала пила, а потом печной дым над промчатой крышей Грибова дома, запах картошки, ворованной на огородах за линией и жаренной на подсолнечном масле, сытое шлепанье карт — на панченском дворе, и дым папирос в синем-синем настоящем вечернем небе, и тихое пение Цыгана-Маши: «Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит, соколовская гитара до сих пор в ушах звенит...»

А потом сытые ребята лежали в траве и смотрели в синее-синее настоящее небо, как будто накурились планчика, божьей травы, гашиша, весеннего наркотика, и глядели на розовые трубные, органичные журавлиные облака.

2

Об этом учителе физкультуры уже давно ходили слухи, и они подтвердились.

Он вошел в класс летящей походкой всадника. У него была литая фигура гимнаста, залысый череп и мушкетерская эспаньолка. Ему было за пятьдесят. Он вошел в класс и сказал:

— Мужчинки, пора становиться гимнастами.

Запахло прериями, чернильницы блеснули как смитвессоны, снизу из школьной столовой потянуло джином и пороховым дымом, и у всех девочек стали черные мексиканские глаза.

В физкультурном зале он подошел к турнику и подтянулся на одной руке, сделав «преднос» — ноги параллельно паркету, оттянутые носки, твердый живот в квадратах мышц, вздувшийся бицепс правой руки, — он провисел шестьдесят секунд и легко спрыгнул. Девочки в него влюбились сразу, в старого рыцаря.

Он собрал всех самых слабых мальчиков, и через полгода у них

стали сильные шеи и спокойные глаза силачей. Мальчики ходили за ним стеной.

Учителя вздохнули с облегчением. Потому что жирная стрела графика успеваемости старших классов вознеслась в учительской в заоблачные выси. Учителя молились на старого рыцаря, а он занимался физкультурой и не претендовал на ихнюю славу в роно.

Потом произошел случай с Малиной.

У этого низкорослого белобрысого ученика четвертого класса была круглая голова, стриженная под городского, торчащие уши, и его боялись старшеклассники. Потому что он был хулиган.

Он мог делать что угодно — за ним стоял его брат Малинин, «Малина» по уличной кличке, увеличенная вдвое модель Малины-младшего. Когда на стадионе «Лесдрев» кончался футбол, то на углу Медового и Семеновской, у остановки трамвая номер 14, сначала на тротуаре, а потом на рельсах клокотала и рассыпалась с топотом и милицейскими свистками огромная драка.

Считают — блатные опаснее хулиганов. Это все же ошибка. Конечно, человеку, которого ударили финкой, безразлично, кто это сделал — хулиган или уголовник, но для общества в целом это не вовсе безразлично. В те годы блатными становились с отчаяния, а хулиганами с жиру. В блатные шли деклассированные, а хулиганы прятались за спину класса. Потому что блатной — это человек, не нашедший применения, а хулиган — это бездарность, желающая стать нормой. Потому что тогда за блатными стояла социальная трагедия, а за хулиганами — чувство неполноценности. Это не оправдание тогдашней уголовщины, но жизнь показала — блатному, чтобы «завязать», нужно уверовать в справедливость, а хулиган боится справедливости как огня. Потому что он классовый нуль. Поэтому уголовники нуждались в доверии, а на хулигана действовала только палка. Хулиган — это резерв фашизма. Мало кто понимал это в те годы, но Гошка прекрасно помнит, что для панченских слово «хулиган» было ругательством, равным слову «дерьмо», и за это слово они лезли на нож. И потому, когда мимо огромной компании Малины-старшего цепочкой шли панченские, запахивая клифты, малининские расступались, и в глазах у них появлялось что-то собачье. Потому что они понимали — эти церемониться не станут, не в милиции, где они, меланхолично хлюпя носами, обещают исправить и повышать производительность труда.

И вот однажды прорвалась стихия. Малина-младший с кучей четвероклассников гонялся по этажу за девочками старших классов и бил их, а парни стояли в углу, с белыми лицами, делая вид, что ничего не происходит, хотя над ними издевались младенцы, а учителя звонили в милицию, и все это только потому, что у младшего Малины был брат.

Когда Гошка, который всегда сбегал с уроков химии и немец-

кого, спустился на перемене с чердака, он увидел вопящую толпу щенков и Малину с белыми глазами. Гошка, еще ничего не поняв, щелкнул его по лбу, и тот ничего не сказал и пробежал мимо, а за ним остальные, удивленно оглядываясь. И тут с лестничной площадки в коридор легко шагнул Петр Кириллович, учитель физкультуры, которого кто-то догадался вызвать.

Ну, это было великолепно!

— Эт-то что такое?! — крикнул он высоким голосом наездника.

Несведущий в новых веяниях Малина, представьте себе, замахнулся на него кулаком и сказал:

— Давай-давай...

Ну, это было великолепно!

Старик протянул руку, за шиворот поднял Малину в воздух и так, держа в воздухе на вытянутой руке двенадцатилетнего парня, объяснил всем хлюпам, каким должен быть мужчина, когда имеет дело с хулиганом. Малина убедительно завыл, потому что пиджак резал ему подмышки, и все увидели полное и безоговорочное унижение Малины и его брата, потому что Петр Кириллович, конечно, один мог уничтожить десятерых, и старшеклассники сразу стали тиграми и разогнали армию из четвертого класса.

После этого над головой старого джигита возник ореол золотого перелива, а на уроки физкультуры потянулись, как на молебен.

И тогда Гошка перестал ходить на физкультуру из-за какой-то непонятной обиды. И только когда он увидел, как по Семеновской мимо компании Малины и мимо панченских проходит Соколов, он понял причины своей обиды и возликовал.

Когда Соколов проходил мимо малининских, не по-уставному заложив руки в карманы галифе, то все они начинали улыбаться ему, как ясному солнцу, и тянулись навстречу, как ромашки, готовые с детским смущением оборвать на себе все лепестки, чтобы узнать: любит, не любит? Потому что знали твердо — ненавидит, и не могли понять — почему.

Ведь видели же они, как он проходит мимо панченских, ответно кивая на молчаливые приветствия и иногда останавливаясь, чтобы спросить:

— ...Ты, что ли?..

— Насчет ларька на Малсеменовской? Нет. Это не наши, начальник.

Потом прикуривал и шел дальше, не мешая расцветать здесь достоинству. И панченские глядели ему вслед и молча курили. И как Гошка гордился тем, что различил Соколова в толпе курортников и что Соколов угадал в панченских запутавшихся, а в малининских предателей, и потому хотел панченских привести в рабочий класс, а малининских изгнать.

Гошка от панченских слышал, как Соколов пришел в милицию.

Ну, это была отчетливая история, и тянулась она по цепочке через начальника кадров с «Ремзавода», который слышал ее от своего приятеля.

После германской Соколов вернулся в свой большой город, а комендантом там был старый латыш Кин, рабочий с электрического завода. Завод этот Всеобщая электрическая компания эвакуировала из Риги в начале германской войны, и когда Соколов вернулся, в городе было трудно, потому что по ночам резвилась непонятная банда.

Во всех городских домах — железные ворота с окошечками и домовая охрана. Банда подъезжала и в окошечко показывала ордер на обыск с печатью Чека. А потом входили, запирали ворота, грабили весь дом и пытали — загоняли иголки под ногти и спрашивали насчет золота и ценностей. Город стонал от этих дел, которые подло совершались именем власти, и Советская власть поэтому подвергалась недоверию и ужасу. И комендант Кин никак не мог узнать, что за банда. А потом ему открыли, где она помещается, и все стало понятно. Она помещалась напротив комендатуры, на втором этаже, в особняке профессора Бугреева...

Еще при первом городском Совете организовали роту из случайных людей, уходивших с фронта. А когда учредили Всероссийскую Чека, то роту эту в Чека, конечно, не взяли как разложившуюся и собирались ее либо расформировать, либо отправить на фронт. Вот тут-то рота и стала бандой...

Когда Соколов с вокзала пришел ночью в комендатуру спросить о своей дальнейшей жизни, то старый Кин принял его плохо. Потому что был в гневе из-за этой банды, позорившей чистое дело революции. Он оглядел Соколова и сообщил ему, что и как, и Соколов тихо и некультурно выругался и стал железный. Тогда Кин позвал его к окну и спросил — может ли Соколов один снять вон того часового, и чтобы не было стрельбы. Соколов спросил, нет ли у Кина папирос, и Кин сказал — есть. Соколов взял папиросы и ушел, прихватив комендантово полотенце с мраморного умывальника. Он спустился вниз, пошел к часовому и взял папироску в рот. А когда не нашел спичек, обратился к часовому. Тот попросил папироску, потому что это была редкость в те времена, стал закуривать и сунул винтовку под мышку. Соколов накинул ему на лицо полотенце, завязал узлом вместе с папиросой, заломил ему руки и отнес часового к коменданту. Часовой даже не пикнул, потому что Соколов был в гневе. И старый Кин постановил: «Вот тебе револьвер, и пойдем брать банду, но стрелять ты будешь как можно меньше». И они с Соколовым вдвоем пошли брать банду, спустились вниз, и Соколов увидел, что дом окружают наши солдаты. Соколов вслед за старым Кином поднялся на второй этаж Бугреева дома и увидел



...и все услышали войль трубачей и шелест рваных знамен

заснувшего у коптилки дневального. И тут Соколов, конечно, его тоже отнес вниз солдатам, а потом вернулся, и старый Кин распахнул дверь с ужасным криком:

— Ни с места! Руки вверх!

В него выстрелили и ранили, а Соколов выстрелил и убил. Кин поднял немецкую гранату на длинной ручке, и так они вдвоем забрали всю банду, а у нее были пулеметы. И Соколов остался у старого Кина до самой его смерти, а потом остался совсем. Поэтому что он ненавидел изменников революционного рабочего класса.

И тогда Гошка понял, почему он перестал ходить на физкультуру.

Просто он не ту силу искал. Не хотел физкультурой завоевывать жизненную безопасность, не хотел отличаться от Малины только мышцами и образованием, потому что это не спасет от Малины, и не успеешь оглянуться, как сам станешь Малиной и будешь давить слабого и улыбаться сильному, как ромашка. И Гошка понял со счастливой яростью, что спасение от Малины могло прийти только от Соколова, а не от Петра Кирилловича, потому что в Соколове была революция, святой бой, а в Петре Кирилловиче всего лишь вестерн, ковбойский киновоевик.

Потому что у Петра Кирилловича и его учеников была сила для себя, а у Соколова и его учеников была сила для всех, а это всегда побеждает, хотя иногда от усталости и кажется, что это не так.

3

...А ветви шумят и шумят, а ветер на улице летит просторно, и в распахнутых стеклах отражаются багровые облака.

Однажды утром в Майоров переулок въехала карета «Скорой помощи». Было так рано, что никто еще не успел завопить: «Скорая!» — хотя на Благуше любили сенсации. Утро было прохладное, и пахло травой. Рывкнул заводской гудок, и из подъездов потянулись жильцы на работу, и мало кто заметил «Скорую помощь», которая обогнула дом и ушла в тень возле котельной. Но все же кое-кто заметил, и через черные подъезды стали выскакивать ребята, поеживаясь от утренника. Тень от дома не доставала анохинского забора, и потому те, кто успел проснуться, уселись на травянистый бугор вдоль забора, освещенного солнцем, на серых досках которого уже гудели утренние мухи, и ослепительно желтели в траве цветы одуванчиков.

Потом из котельной, которая косой крышей уходила в сопящую угольным дымом глубину, из железной двери два санитара вынесли рыжего дядю Васю-истопника, и голова его, пегая от седины, сви-

сала вниз, как будто дядя Вася вглядывался в щербатые ступени, над которыми его пронесли, в черные от шлака трещины асфальта, скрывавшего землю. И как будто в первый раз дядя Вася увидел небо, когда его кляли в машину и перевернули на спину и голова его откинулась назад. Словно увидев синее небо, он закрыл глаза и побелел, как старая кость среди бурой полыни в степи, заглядевшейся в синее небо.

«Скорая помощь», взвизгнув, словно она уже мчалась по магистрали, медленно обогнула дом и спустилась к переулку, и ребята смотрели на высокую жену истопника и высокую дочь Нюшку — те стояли столбами и глядели румяными лицами вслед «Скорой помощи».

Похороны дяди Васи прошли незаметно, зато поминки запомнились, потому что на этих поминках все заметили Нюшку Селезеву, истопникову дочку.

На поминках сначала выпили под застольную речь нового домоуправа и постановили считать усопшего хорошим человеком. А потом развеселились и даже пытались спеть — «Вместе с острой саблей пику подари» и «Не спи, вставай, кудрявая». Но вдова, которая на кухне, обливаясь слезами, прикидывала, кто из гостей принес пол-литра, а кто не принес, это пение пресекла и сказала, что поминать поминайте, а распевать тут нечего, не на гулянке...

Гости поперхнулись и замолчали, и вдруг все заметили — на Нюшке серое шерстяное платье с длинными рукавами, закрытое до горла, с кружевным воротником и заколото брошкой, длинные плавные ноги, длинные плавные руки, и вся она в этом платье как резиновая. Волосы она уложила назад, щеки горят, и верхняя губа приподнята, так что рот колечком полуоткрыт, не то удивленно, не то растерянно, и тут все увидели — выросла, и серые глаза в крапинку, и тут все увидели — красавица. Она сказала:

— Мама, а чего вы их уговариваете? Посидели, и гоните их в шею.

Кто-то крикнул в тишине.

А Нюшка сказала спокойно:

— А ну, давайте отсюда к чертовой матери.

И алый рот у нее был приоткрыт удивленно.

И такая сила была в ней, шестнадцатилетней, что гости начали барахлить ногами и стульями и выползть в двери, а потом на кухню, на лестничную площадку, а потом кто во двор допевать песни, а кто по квартирам, спотыкаясь на лестницах. А Нюшка все сидела за столом и смотрела в окно, и рот у нее был полуоткрыт.

И за столом остался только дед Филиппов, общий предок всех Филипповых по боковой линии, балагур и пьяница, он торговал на Преображенском рынке нереальными конями, а потом на Колхозном рынке возле стадиона «Лесдрев», что у каланчи, а теперь

всюду развивалось народное искусство, и деда взяли консультантом Загорского дома игрушек, и убили двух зайцев сразу — очистили колхозный рынок от рассадника дурного ремесленного вкуса и приобрели для Дома игрушек великого мастера по народной деревянной резьбе. Теперь дед сидел за столом и смотрел на Нюшку соображающими глазами. А потом он засмеялся.

— А ты чего? — спросила Нюшка.

— Минога, — сказал дед задумчиво.

— Чего?

— Минога, говорю, — сказал дед. — На миногу ты похожа. Рыба такая есть. Чистая минога.

— Давай отсюда, — сказала Нюшка. — Расселся, пьяница. — И вдруг быстро поднялась. — Куда?! — спросила она. — Ку-уда?! Сейчас милицию позову.

— Зови, — сказал дед.

Потому что он не пошел в дверь, а кряхтя лез через окно на потеху молодому населению, которое толклось у котельной.

— Ворам дорогу показываешь? — спросила Минога и оглядела стоящих под окном. — Иди, где все ходят, — и дернула его за руку.

— А я сроду там не ходил, где все ходят, — угрюмо сказал дед.

Он сидел верхом на подоконнике и тоже поглядывал на всю честную компанию, ожидавшую событий чрезвычайной важности.

Потому что дед — это крепкий орешек, это вся старая Благоуша, ее живой символ, ее вольница, ее дух, мечтательный и отчаянный, ее настырность и выдумка. А в Миноге хотя и увидели незнакомую еще силу, однако сомневались, что и деда она сощелкнет, как сощелкнула пустяковых своих гостей.

Но тут к котельной подошел домоуправ, и все поняли, что дед проиграл. Потому что не было еще такого домоуправа, который любил бы деда Филиппова.

— Это еще что такое? — спросил домоуправ.

— Домоуправ, называется, — сказала Нюшка. — Я вот скажу куда следует, какие у вас порядки.

И это было сказано таким манером, что домоуправ вострепнулся, как полковая лошадь при звуке трубы.

— Гражданин Филиппов, — строго сказал домоуправ.

Нюшка опять взяла деда за рукав.

Она была сильнее всех. Свое незапятнанное пролетарское происхождение она только что получила в наследство, и оно было неотменимо, так как дядя Вася-то умер, а у деда, наверно, и происхождения никакого не было. У него, может быть, было дворянское происхождение. Ведь знали же про него, что он, богохульник, дважды в год — 29 января и 10 февраля по старому и по новому стилю — ставил здоровенную свечу в Елоховской церкви в память бо-

лярина Александра Сергеевича Пушкина, невинно убиенного. Хотя, с другой стороны, нельзя же считать, что ты производишь от того, кого любишь.

Тому, что говорил дед Филиппов, на Благоуше хотя и со смешком, но верили свято — все, что он говорил, подтверждалось на практике. Дед жил так долго, что обычно заодно доживал и до подтверждения своих прогнозов, а это не каждому дано. Поэтому про него говорили, что дед «может».

Например, дед предсказывал, что будет революция, когда еще германская война не начиналась, а был финансовый бум, или, как теперь говорят, экономическое чудо, и каждый мог заработать, и на Благоуше появилась праздничная одежда, и у баб козловые сапожки и шали со стеклярусом, и было что выпить и чем закусить, и бублик стоил полкопейки. И строились доходные дома, и Благоушинская больница с чугунной решеткой-модерн — переплетающиеся лилии и жеманные чугунные ленты, и синематограф «Сокол», где крутили фильму про любовь скрипача из народа, загубленного небрежной женщиной в мехах, и фильму про бегство графа Толстого от жены-графини — умирать на железнодорожном полустанке, заснятую фирмой Патэ. А «Разбойник Антон Кречет» и «Нат Пинкертон» стоили по четыре копейки за выпуск, и возле Введенского народного дома начали строить завод электрических лампочек в виде рыцарского замка с башнями. И все равно дед тогда сказал:

— Похоже, что скоро революция будет почище, чем в пятом годе.

И это помнили поредевшие в гражданскую войну старожилы. Так что деду надо было доверять.

На Благоуше не любили постановлений о человеке — хороший, плохой, глупый, умный и прочее. На Благоуше долго прицеливались, а потом давали прозвище. И это уже на всю жизнь.

Поэтому, когда дед обозвал Ньюшку миногой, все поняли — тут дело непростое.

А тогда слово «простой» стало синонимом слова «хороший». Кто простой, тот хороший, а кто непростой, тот плохой человек, который чего-то там темнит, наводит тень на плетень, много на себя берет.

И вдруг застрявший в окне дед Филиппов услышал разговор. В разговоре участвовали домоуправ — мужчина с эскимосским профилем и две женщины-активистки, которые состояли в комиссии (какая комиссия — никто не знал, но только так и говорили — «комиссия», «вот комиссия придет», «нужно вызвать комиссию»).

Дед услышал, как они сказали:

— Мы люди простые.

И захохотал.

— Это вы-то люди простые, о господи!

А они-то думали, что он давно пьяный — принял свои шесть-сот и остекленел.

Все было гладко до этого момента, а тут вдруг не заметили, как получился спор. До этого были поминки как поминки, а тут вдруг стали принципиальными. «Принципиально» — любимое слово нового домоуправа: «принципиально я за», «принципиально я не против», «я возражаю принципиально».

Прежний домоуправ был жулик, это все понимали, и никто его добром не поминал, покойника, — сам себя укатал в могилу и Чирея погубил. Он был непринципиальный, а этот — принципиальный. Тоже, конечно, жулик, но в такой области, где его и не уловишь. Тот был попроще, у того все было понятно — бочкотара, тес, толь для сараев — в общем, до первой ревизии. А у этого какая могла быть ревизия, если он жульничал в области идей и лозунгов. Ну, короче говоря, этот домоуправ мог найти крамолу даже в манной каше.

И вот дед Филиппов высказался:

— Какие же вы простые, о господи! — и грубо захохотал.

И это был такой живой хохот, и так он выпадал из всего, что происходило на принципиальных поминках, что домоуправ только посмотрел на двух женщин из комиссии, и они определили деда:

— Пьяница.

А пьяница — это не принципиально. На пьяницу есть милиция и начальник райотдела Соколов.

И тут к окну протиснулась Зинка Баканова.

— Нюша, не тронь деда, — сказала она.

Она была некрасивая. У нее был курносый нос и большой нахальный рот, как у всех Бакановых, — там были еще три брата: двое старших и один младший, и никакой неопределенности не было в судьбе этой семьи — завод «Мостяжарт» или «АТЭ-1», металлсты, слесаря или лекальщики — как только подрастут и перебесятся, отгуляют свою весну со шпаной, отпоят меланхолические песни, отдежурят с папиросками на углу Майорова и Семеновской, возле пожарного сигнала со стеклышком.

Зинка была некрасивая и нахальная, ее уже начинали тискать на лестницах, и она хохотала истошно и была как трава на краю асфальта, колючая и неистребимая, но когда Гошку спросили панченские, кто у вас самая красивая шмара, он не колеблясь ответил: Зинка. Над ним посмеялись и не поверили, а за Зинкой почему-то незаметно для себя потянулись хвостом. У Гошки и потом так бывало, что ему сначала не верили, а потом говорили — не ты первый сказал. Как выяснилось через двадцать лет, Зинка была похожа на Брижитт Бардо, только без неврастении.

— А ну, пусти руку, кикимора болотная, — деловито сказала она Миноге. — А то врежу между глаз.

А Гошка сунул пальцы в рот и свистнул. Он уже умел.

— Шпана,— сказала Нюшка.— Ворье проклятое.

А дед перелез через подоконник во двор.

— Расходитесь, расходитесь,— призывал домоуправ. Потому что Зинка тоже была пролетарского происхождения.

А Зинка посмотрела на Гошку со сдержанным удивлением. Она знала, как Гошка сказал про нее не колеблясь и во всеуслышание, и всегда смотрела на него со сдержанным удивлением.

— Ах ты Минога,— сказал дед.— Ну смотрите, жильцы, эта девка еще наклеет дел. Вот вам мое петушиное слово.

А домоуправ пообещал позвать Соколова. Но почему-то не позвал. И гости разошлись с этих поминок.

— Чистое кино,— сказал дед и ушел последним.

И все дворовые ребята перешли к текущим делам дня.

Но что-то случилось все-таки.

И Гошка полез в Малую энциклопедию и нашел там слово «минога»: «Миноговые — семейство круглоротых рыб, ведущих полупаразитический образ жизни, тело сильно удлинненное, рот круглый, образует сильную присоску, вооруженную роговыми зубами, которыми минога прокусывает кожу своей жертвы. Поздней осенью она начинает подниматься вверх по рекам, мечет икру и возвращается в море».

4

...А когда уплыл последний корабль и Лешку Аносова с Костей Якушевым увезла железнодорожная милиция, Гошка вдруг понял — и все же можно было не ездить. Потому что какой от него толк в Испании. Он бы ел чужой хлеб, а нужно самому быть мельницей. Стоять на вечерней запруде и работать жерновами от рассвета до заката, тогда ручеек хлеба и радости не иссякнет, и его, хочешь не хочешь, дождутся океанские корабли... «В дорогу... в дорогу... в дорогу... в дорогу...» — как пел Чирей, и нужно еще догадаться, что ты сам можешь дать веку, пусть даже одно зернышко, но свое.

Гошка выбрался из-за ящиков, подошел к огромным опорам крана и задрал голову. Он увидел отчаянную десницу крана — тот прощался с уходящим на закат кораблем.

Гошка прислонился щекой к нагретому чугуну и почувствовал, как дрожит кран, и услышал стон чугуна.

Он отстранился, опустил глаза до самой огромной опоры, вздохнул и сказал чугуну, зудящему, как ссадина:

— Не бойся. Я вырасту. Подожди,— сказал он.

И стон чугуна утих. Может быть, потому, что Гошка отошел от крана, а может быть, потому, что слово сильнее дрожи.

Гошка еще раз оглянулся на кран и увидел, что стрела его светится закатной улыбкой. Он вздохнул еще раз и пошел к проходной будке порта сдаваться в плен.

Время было летнее, школьные каникулы. Когда Аносова, Якушева и Панфилова доставили в Москву, то начальник районного отдела милиции, лысый дядька в скрипучей портупее, сказал, что замнет дело, если они дадут ему два обещания. Первое — ни в школе, ни дома не рассказывать, что хотели удрать в Интернациональную бригаду, потому что у него уже мочи нет, а иначе гнать таких надо к чертовой матери из комсомола, а второе — поступить в автошколу. Соколов Гошку не узнал, а Гошка узнал его сразу, и это понятно, для Соколова эти годы как один день, а для Гошки — треть жизни. Вот странно только, что можно не узнать друга, даже если ему теперь не двенадцать лет, а шестнадцать.

Их набралось человек шестьдесят, «испанцев» с Благуши, и на этой «испанской» базе организовали автошколу в переулке между Семеновской и Немецким кладбищем с узорчатой кирпичной стеной. Дали им полторку, и они изучали конуса и карбюраторы, и Гернику и коробку передач, и Гвадарраму и охлаждение, и Гвадалахару и зажигание, и сдавали практическую езду на водительские права — главное, чтобы мотор не заглох на перекрестках и вовремя посигнализировать, выезжая из переулка, не рвать баранку и твердая нога на газе, а улица проскакивает домами и прохожими, гремят борта на выбоинах асфальта, и шелестит июльская листва, а потом устные экзамены — уже перед самой школой, и шелестят августовские листья.

Соколов поставил пятерки почти всем «испанцам», и только одному поставил двойку, рыжему парню с Барабанного переулка, потому что этот парень был самый добросовестный. Ему достался хороший билет — аккумуляторы, — и он сказал:

— Ничего. Война в Испании еще не кончилась. А там видно будет.

И Соколов посмотрел на рыжего парня и молча поставил ему двойку, и парень не получил водительских прав, а остальным выдали детские права, которые давали право водить какие-то мифические детские автомобили с моторами, — ходили слухи, что их будут выпускать, но так до сегодняшнего дня и не выпустили, и сколько ни хлопотал Соколов, «испанцам» так и не дали взрослых прав, и чертежи детских автомобилей все еще обсуждаются в журналах «Знание — сила» и «Техника — молодежи».

Дальние страны, ах, дальние страны, и мы проиграли войну в Испании.

В этот день Гошка шел по школьному двору, и какой-то клоп пролетел мимо него и очумело заорал: «Но пасаран!» — и выстрелил из рогатки в небо. И Гошка вдруг почувствовал, как ему красивой пеленой заливает глаза. Он помчался за этим первоклассником и догнал его, и физиономия у него была такая, что у малыша от ужаса даже уши прижались.

— Дай рогатку,— сказал Гошка.

— На,— протянул тот рогатку, ожидая удара.

А Гошка смотрел на его белесый затылок и понимал, что он для мальчика уже старик. А на самом деле он просто состарился, потому что проиграл войну в Испании. Он как-то сразу состарился, и весь его класс сразу состарился.

И Гошка тогда пошел к Соколову, чтобы спросить: как же так? Ведь наш класс должен всегда побеждать? Ты должен знать, ответь нам.

Но в милиции сказали, что Соколов уехал, и давай отсюда, малец. И Гошка пошел на задворки и через бурьян на пустыре добрался до темного окна Соколова.

Он прижался носом к стеклу и увидел в дальнем углу на диване что-то огромное, как будто присел медведь. Он узнал Соколова. Соколов сидел неподвижно, и Гошка сначала обрадовался, а потом похолодел, когда услышал звуки. Соколов хрипел сквозь стиснутые зубы. Гошка хотел бежать, предупредить милиционеров, что с Соколовым плохо, что Соколов умирает, но Соколов вдруг поднялся и, заложив руки в карманы, побрел к окну. Гошка отскочил в бурьян. Соколов покачивался с носка на пятку, подбородок его был задран, щеки у него были мокрые, он хрипел песню, и Гошка не сразу понял, что это за песня, потому что никогда не слышал, чтобы так пели. Потом Соколов рукавом вытер щеки и посмотрел в окно, и Гошка ящерицей стал уходить в бурьян и успел скатиться с бугра, прежде чем в окне вспыхнул свет.

Были сумерки. Во дворе сидели ребята. Гошка подошел и стоял молча. Не мог Гошка рассказать о том, что он видел. Все равно никто бы не поверил.

Через год узнали, что Соколов погиб на Халхин-Голе.

И тогда Гошка вспомнил поминки и Ньюшку-Миногу и понял навсегда, почему домоуправ не позвал Соколова. И подумал со счастливой яростью:

«Зови... зови Соколова, домоуправ! Зови на свою голову! И опять будет чистота и праздник души, когда над двором распахнется настоящее небо и все услышат вопль трубачей и шелест рваных знамен. Зови Соколова, домоуправ!»



Глава третья

НЕРУКОТВОРНЫЙ ПАМЯТНИК

1

Когда Гошка вспоминал, почему так все получилось с Надей, и думал о том, что же послужило первым толчком, он всегда возвращался мыслью к стеклянному графинчику ее крестной.

Ах, какой это был графинчик! Человека, который глядел на этот графинчик, охватывали покой и меланхолия. Вино в нем, а наливали в него только портвейн, потому что крестная любила крепленые вина (это не то что теперь — рислинги, твиши, цинандали — кислятина, в общем, считается аристократическим пить эту кислятину, тогда пили херес, мадеру — а марсала? — с горчинкой, с дымком, но, конечно, рюмочку-другую, не больше, не больше), вино в этом графинчике казалось рубиновым. И так оно шло к стенам с ветхими обоями в золотую полосу. Впрочем, если снять со стены картину или коричневую фотографию в рамке черного дуба или отодвинуть венецианское зеркало с зеленоватым стеклом, то на выгоревших обоях окажется прямоугольник притаившегося яркого цвета, голубого с золотом, который в начале века у купцов-модерн считался дворянским.

Все было ветхое в московской квартире крестной и на даче, стоявшей среди полян. Там, на даче, играли в волейбол, собирали землянику, и дорога, стремительное лесное шоссе, взлетала на пригорках и утыкалась в небо с неподвижными облачками, которые казались нарисованными.

И чем более ветхим все было на этой даче, тем больше ценилось, так как облагораживало. Что, собственно, облагораживало — никто в точности не знал, но облагораживало, и все участники этой игры чувствовали себя счастливыми.

Однажды Гошку спросили:

— Вот как ты думаешь, по-твоему, что такое счастье?

Разговор происходил в школе, и все или мямлили, или горячи-

лись. Многие тайно думали, что — любовь, но особенно не нажимали на это. Потому что вопрос о любви стоял еще на том уровне, когда решают — можешь ли ты прыгнуть с третьего этажа, если человек, которого ты любишь, попросит об этом, и презирали тех, которые могли сказать: нет, не могу. Да никто и не говорил «нет», а все говорили «да», в тайной надежде, что как-нибудь выпутаются, если дойдет до проверки, — может быть, справку от врача принесут. В общем, прилично было ответить — да, и тебя уже считают за человека, и все сидят с горящими глазами и любят друг другом.

— А ты? — спросили Гошку.

— А что — я?

Все насторожились.

— Что — ты? Ты мог бы прыгнуть из окна, если человек, которого ты любишь...

— А он? — перебил Гошка. — Любит? Этот человек?

— И он любит.

— Как же он меня попросит прыгнуть в окно, если любит?

Все как-то опешили.

— ...Не в этом дело... — нерешительно сказала вожатая.

Конечно, не в этом дело. Дело было в энтузиазме того сорта, когда не вдумываются в смысл обещаний. А Гошка этого не понял и испортил всем настроение.

Он так за всю жизнь и не понял, что обещания можно и не исполнять. Он выкручивался как бес, чтобы не связывать себя обещанием, но когда удавалось выбить из него обещание, то он выполнял его, упорный, как осел, и нередко уже в одиночку.

И вот когда Гошку спросили, может ли он прыгнуть с третьего этажа, ежели возлюбленная захочет проверить его преданность, то Гошка своим встречным вопросом разрушил для всех нечто важное, какую-то сложную систему общего поведения, и сразу упал в глазах всех участников этого устного экзамена на лживость.

— Значит, не можешь? — спросила Надя.

Щеки у нее горели, брови взлетели вверх трагическими уголками, а подбородок был белый-белый, как сливочное мороженое, и его хотелось лизнуть, но Гошка не лизнул и только уклончиво отвел взгляд, потому что прыгать из окна ему не хотелось.

— Не можешь? — спросила Надя и уже приготовилась.

Отчетливое словечко «трус» слышалось всеми, хотя еще и не было произнесено.

— Не хочу, — сказал Гошка и опять все усложнил.

И все вдруг сообразили, что если Надя произнесет слово «трус», то ведь Гошка может потребовать соревнования и проверки и тогда состоится один из его нелепых аттракционов, вспоминать о которых избегали. Вроде случая с балконом.

Это было летом после экзаменов, погода стояла пыльная и

сухая, и тени были короткие, и озверевшая от жары земля дворово-новостроек мертво вспыхивала стекляшками. Все слонялись по переулкам, ожидая отъезда — кто в деревню, кто на дачу, а кто в лагерь.

Гошка тогда на короткое время сдружился с братом и сестрой Козаковыми, потому что к ним приходила Надя.

Все было немного нереальным от жары, от синего марева над асфальтом, от блеска стекляшек, от белой известки, которой были заляпаны пронзительно пахнущие подъезды недостроенных домов Майорова переулка, когда Гошка пришел к Козаковым. Там была Надя, и все сидели и с наигранным увлечением решали скучные ребусы и арифметические загадки, которые для ихнего развития давал им отец Козаковых, преподаватель какого-то вуза. Они сидели в зашторенной душной комнате с навеки неподвижными креслами, и дверь на балкон была открыта, и с шестого этажа были видны крыши и пыльное небо.

— А вот интересная задачка,— оживленно сказал отец-Козаков, когда Гошка вошел в комнату.

Но Гошка сделал вид, что не расслышал, и осторожно прошел на балкон с железными перилами.

Он оглядел пыльное, пахнущее заводской гарью небо, в котором даже голубей никто не гонял в эти блеклые послеполуденные часы, и, прислонившись спиной к ржавым перилам, стал смотреть в комнату на эту дружную группу автоматов. Потом Гошка вздохнул и сел на перила, спиной к жаркой улице.

Никто в комнате не повернул головы, но все карандаши приподнялись и застыли над линованной почтовой бумагой из бюро отца-Козакова.

Гошка устроился поудобней и свесил зад с шестого этажа. Отец-Козаков осторожно поднялся и вышел из комнаты, широко открыв глаза и застегивая пуговицу на бежевом пиджаке. А потом в соседней комнате Козаковых осторожно приоткрылась бежевая штора и закачались помпончики. Тогда Гошка съехал с перил наружу до самых подколенок и некоторое время сидел так. А потом запрокинулся спиной назад, отпустил руки и повис на балконе шестого этажа вниз головой.

Далеко внизу, а как Гошке казалось теперь — наверху, остановилась короткая тень, прохожий поднял голову и увидел мальчика, висящего вниз головой под крышей высокого дома.

Прохожий что-то коротко крикнул, кого-то позвал, и на тротуаре образовалась кучка людей, которые смотрели вверх и очень громко кричали: «Тише, не спугните его, он лунатик». Потом у Гошки закружилась голова от заданных к нему лиц и блеска стекляшек, он понял, что пора кончать, послал им приветственный жест, вывернутый наизнанку, и попытался дотянуться до перил, но ему это не

удалось — плечи и голова стали тяжелыми, как тумба у тротуара, и спина не сгибалась.

Потом Гошка рывком дотянулся до перил. Он чуть не отпустил перила — такие они были раскаленные, жаркие, и, напрягая все силы, втащил себя на балкон.

В душной комнате все громко дышали. Никто не говорил ни слова. И Гошка пошел домой и все думал, думал — зачем ему это понадобилось, и что он хотел доказать, повиснув вверх ногами, и почему надо было увидеть над головой землю, и зачем он проделывал идиотские аттракционы, которые хотя и показывали всем, что он не трус, и отбивали охоту соревноваться, однако вовсе не имели никакого отношения к храбрости.

Когда Гошке задали вопрос — может ли он прыгнуть с третьего этажа, ежели возлюбленная пожелает провести экзамен на послушание, то Гошке совесть не позволила соврать. На его взгляд, так до сих пор и не изменившийся, любовь и экзамены несовместимы, как гений и злодейство, — так по крайней мере утверждал Пушкин, который хотя и не дожил до Гитлера и потому о злодействе знал не все, но уж, конечно, насчет гения был высшим судьей.

Да, не очень правильно все получалось с Надей. Все в классе знали про Гошкину любовь, потому что он на уроках не отрываясь смотрел на Надю, и за те два года, что они проучились вместе, ни она, ни он не сказали друг другу ни слова.

Пару лет назад вошли в моду широкие запрещенные брюки «чарли», пришедшие к нам с гнилого Запада, первые развратные танцы танго и фокстрот. А потом все девочки в классе начали танцевать, а из ребят умел только Вовка Зубавин, смешной маленький тюлень. Его девочки обучили, потому что с ним можно было танцевать даже в классе, ничем не рискуя. Но тут вдруг стали появляться какие-то мальчишки из центра, и это было самое страшное.

А потом в одноэтажном ателье на Электrozаводской, возле старого Покровского моста, был сшит костюм, и окна в ателье были заложены снизу черными просмоленными ставнями. Яуза тогда разливалась широко и каждую весну заливала Семеновскую и Электrozаводскую, и плавали лодки, застревали грузовики, кричали птицы и мальчишки. И когда Гошка увидел себя в сером костюме с подватиненными плечами, он с ужасом понял — предстоят танцы.

В три вечера Вовка обучил его, а на четвертый он с тяжело бухающим сердцем сидел на диване с прекрасными юношами, а девочки толпились у окна возле стола с патефоном, который накручивал Вовка. Раздались райские звуки, и Гошка встал, ослепительный, и приготовился принять мученический венец. И тут из группы у окна пошла Надя.

Девочка шла от окна как сомнамбула, медленно поднимая руки. Она так и плыла, подняв руки, как будто одна из них уже

лежала на Гошкином плече, а другая была в его руке, как требовалось по закону танца. Мысленно они уже протанцевали вместе все танцы и теперь шли друг к другу в розовом дрожащем тумане, который волнами накатывался от раскаленных девчачьих щек, и уже все затанцевали вокруг и глядели под ноги, последовательно отвоевывая свои железные па. А они все шли и шли друг к другу по бесконечному залу в семнадцать с половиной квадратных метров полезной площади. И тут произошло самое страшное. Надя коснулась его грудью. Ни она, ни он не учли того, что это должно случиться неизбежно. Им представлялось только, что они будут все время рядом во время танца и можно будет поговорить первый раз за два года, а теперь при любом движении до его пиджака дотрагивалась осторожная грудь и колени касались колен. А от лица, от пушистых кос, от ее плеч поднимался запах тополиных почек.

— ...Надя...— севшим голосом прохрипел Гошка,— можно я с вами буду говорить на «ты»?

Она только вздохнула в три приема и кивнула головой. После этого они перестали разговаривать даже на «вы». А на даче крестной Надя становилась совершенно другая.

2

Это выяснилось, когда Гошка с Надей в последний раз пришли на эту проклятую дачу и отдали кошелки с продуктами старой приятельнице крестной. Приятельница прожила с крестной всю жизнь, вела хозяйство на даче, была ласковая и всегда понимающе и неназойливо оглядывала Гошку с Надей.

Ничего как будто не менялось — выходили из поезда и тащили продукты, и пролетали мимо черные машины, но чем ближе к опушке леса, где стояла дача, тем больше они стеснялись этих «авосек», которые тогда назывались кошелками или сумками, потому что слово «авоська» появилось в войну, а о войне в то время только пели. Потому что вся молодежь на этих дачах была из «хороших» семей, и надо было «тянуться», если хочешь жить на опушке. Гошка вовсе не хотел жить на этой опушке, но Надя хотела. И что хорошего в этих семьях, Гошка тоже никак не мог понять. Семей-то как раз и не было, таких семей, к которым Гошка привык на Благуше, где семья — это дом, и он всегда с тобой, вот уже сколько лет прошло, а он всегда с тобой, и ты его ищешь всю жизнь, оглядываясь назад, хотя и кажется, что смотришь вперед. А какие же хорошие семьи были в этом поселке, если все здесь заняты только одним — тянуться, тянуться, тянуться и стараться не показать, что тянешься, и все время позировать и разыгрывать что-то. Как в кино.

Когда они отдали продукты и поздоровались, Надя пошла показывать Гошке, где он будет ночевать. Спать ему предстояло на перестроенном под мансарду чердаке, туда вела врытая наискосок стремянка с пестро-золотыми от вечернего солнца перекладинами. И Гошка вдруг сообразил, что школа-то уже окончена.

Оставался, конечно, еще выпускной вечер, где они попрощаются со школой, выпустят последнюю стенгазету, нарисуют последние карикатуры и разлетятся, а может быть, расползутся, кто знает, каждый по своей тропе.

И потому так важно, так страшно думать о том, что же будет у них с Надей, если в школе, в Москве, дома, она совсем не такая, как на этой даче, и непонятно, где она настоящая — там, в Москве, в классе, где это «дачное» в ней только чувствовалось и делало ее непохожей на остальных девчонок, и это кружило голову, или она настоящая здесь, на опушке важного поселка. Где же она настоящая? Что она за человек? А он что за человек? Что они за люди?

Никогда в школе Надя не стала бы подниматься по стремянке впереди Гошки, хотя, конечно, и в школе нельзя было понять, почему у нее иногда так высоко видны коленки — то ли от веселого телесного здоровья, то ли потому, что она считает — так правильно. Но все-таки в школе она бы не пошла на стремянку впереди Гошки. Конечно, ему и в голову не могло прийти, что может случиться что-нибудь необыкновенное, там, на этой мансарде, — слишком хорошо он знал, что Надя ничего опрометчивого не допустит, и не только по чистоте душевной, а из-за того, что старательно лепила свой облик девушки, принадлежащей сегодняшнему дню всего лишь одним касанием ресниц, а так вообще-то залетевшей в сегодняшний плоский мир, словно бархатная бабочка махаон, откуда-то — не то из пушкинских времен, не то из романов Лидии Чарской, которые в те годы еще нет-нет да и мелькали в девчачьих портфелях, несмотря на комсомольские молнии и громы.

Во всех школьных сказочных постановках Надя играла принцесс и царевен, и все смутно подозревали, что другие роли ей давать нельзя, ведь когда она выходила на сцену, то не было смысла смотреть, как она играет, а надо было смотреть на нее. Во всей школе никому и в голову не могло прийти вклиниться между ними, а все внешкольные попытки кончались крахом, стоило только Гошке сделать шаг в сторону. Это действительно была взаимная любовь двух совершенно не подходящих друг к другу детей. Когда Гошка прочел «Сагу о Форсайтах», он понял: Флер, красивая дочка Сомса Форсайта, собственника, — вот на кого была похожа Надя, но Гошка побоялся в этом признаться даже себе, ведь неизвестно почему считалось, что Надя похожа на Татьяну Ларину.

Вероятно, Гошка тоже был хорош гусь, но про себя, конечно,

труднее вспоминать несимпатичное и тщеславное, а доказать, что ты не гусь, и вовсе трудно, ведь Гошка славился срывами и непонятными выходками, которые не позволяли однозначно определить его облик. Конечно, все бы упростилось, догадайся кто-нибудь назвать его поэтом. В школе было много поэтов, и им полагались странности. Но никто Гошку поэтом не считал, и прежде всего потому, что Гошка и сам себя поэтом не считал.

И вот теперь, когда Гошка поднимался по стремянке вслед за Надей на чердак, где ему надлежало ночевать и где не могло случиться ничего недозволенного, и перед ним маячили Надины ноги с розовыми икрами, он старался на них не глядеть. Ему было стыдно. Он знал наверняка, что ему не было бы стыдно, если бы могло произойти что-то необыкновенное, а теперь трепетать было незачем, и потому было стыдно.

Они вошли под нагретую крышу мансарды, и Надя показала ему деревянную раскладушку, и вечернее солнце сквозь зелень било в открытую дверь чердака, и Гошка думал — неужели она не понимает, что это первая ночь, которую они проведут под одной крышей.

На лице Нади трепетали прозрачные тени, и этот трепет распространялся по всему чердаку, по скрипучим доскам пола, по стропилам, накрытым зудящим железом крыши, по листе за дверью мансарды. Гошка обнял ее и поцеловал, но поцелуя не получилось, они только стукнулись зубами, и Гошка почувствовал, что она тоже вся бьется, как листва. И это было лучшее из всего, что он может вспомнить.

Потому что тут же раздался стук в пол — это крестная стучала метлой в потолок. И Надя вырвалась из Гошкиных рук и исчезла. А еще через несколько секунд она спокойно и весело окликнула его снизу и сказала, что крестная велит им идти купаться перед ужином.

И Гошка спустился вниз, и они пошли купаться на плоскую реку, протекавшую внизу между двумя песчаными откосами — такая дачная речка с узенькими пляжами на обоих берегах, и никого не было, и Надя спокойно разделась и осталась в светлом купальнике, незаметном, как чулок без шва, и спокойно пошла в воду. Гошка нырнул, а когда вынырнул, то увидел Надю, которая, мягко шевеля руками и согнутой в колене полной ногой, держалась совсем рядом с ним, и в прозрачной воде была похожа на большую рыбу, и он мог видеть ее всю, и это было, видимо, хорошо и совсем прилично, ведь это же купанье, черт возьми, а не какое-нибудь там незаконное объятие на чердаке, их могли видеть с обоих берегов, и они могли дать отчет любому в своих действиях, а это для Нади было всегда самое главное.

И тут Надя сказала, отфыркиваясь:

— Поплывем на тот берег.

— Поплывем.

— Я боюсь,— сказала Надя и посмотрела непонятными глазами.

— Тут глубоко?

— Нет.

Гошка ничего не понимал.

— Переведи меня,— сказала она.— Ты протяни руки, а я на них лягу.

Гошка ничего не понимал.

— Это легко,— сказала она.— В воде вес уменьшается.

Это было вовсе не легко. Это было совершенно невозможно.

— Меня всегда так переводят на тот берег,— сказала она,— и Рудик, и дядька, и Генрих.

Дядьке ее было восемнадцать лет. Парень с длинной линиялой мордой, которая считалась аристократической, он не имел никаких способностей и происходил из старой, не то охотничьей, не то семинарской семьи. Рудик был толстый трестовский и главковский сын — шепчущим голосом он рассказывал анекдоты и считался забавным. У Генриха было красивое лицо с обкатанными чертами, как будто его изготовили из мыла, — вежливость его была ошеломляющей. И Гошка отчетливо увидел, как они переводят Надю на тот берег, сохраняя приличное выражение на лицах, игриво-достойных и светски пляжных. И это можно. Это хорошо. Это разрешается.

...В общем, Надя догнала его только на берегу, и они спокойно, без паники, не глядя друг на друга, но и не ссорясь, потому что кругом были дачи, пришли и поужинали, и Гошка достойно шутил, крестная даже два раза сказала «мило... мило...» или нет, один раз... или все-таки два раза сказала «мило, мило»... И он пошел спать на чердак и не видел снов, а утром они с Надей отправились в город, и все встретились в школе — нарядные и свободные, и распределили роли — кто что будет делать для выпускного вечера, и четверым, как всегда, досталось делать стенную газету — Рыжику, Косте, Наде и Гошке. Хотя Костя был не из их класса.

3

Они решили не возвращаться на школьный вечер — просто хотели побыть втроем, чтобы вспомнить все, что было, и догадаться, что будет. Что будет со всеми первыми выпусками школ-новостроек, что будет с песенной Благоушей и какие песни она станет петь.

Наверху гремела школа, уже слегка уставшая от переживаний последнего школьного вечера, и зачем было возвращаться туда, где они все знали и ни черта не могли понять.

В коридоре нижнего полуподвального этажа они потоптались, дожидаясь Витьку Козла, главного фотолюбителя и шашиста, кото-

рый отвоевал себе каморку под лестницей и повесил шикарную табличку «Фотолаборатория», которую ему сделал Костя да Винчи, и потому они имели право на добавочную порцию портвейна, хранившегося у Козла в химических колбах с надписью: «Проявитель».

Спустился Козел, измученный обязанностями официанта, и, повизавшись под лестницей, открыл лабораторию, которая сегодня нескрываемо пахла закусочной.

Они проделали все, что полагается, попрощались с грустным Козлом и пошли себе по кафельной дороге, похожей на бесконечную шашечную доску, где они целых десять лет играли несколько затянувшуюся партию в поддавки.

Они прошли одни стеклянные двери, поднялись по широкой лестнице до других стеклянных дверей и вышли в летнюю ночь, пахнущую бензином и сиренью.

Школа позади, и они уже интеллигенты. Вот и все.

Интеллигенты. По крайней мере так им сказала большая компания родителей, которая сидела во дворе и смотрела вверх на школьные окна, за которыми ликовали ихние дети.

Эти четверо, конечно, опоздали на вечер, потому что делали последнюю и, как выяснилось, вообще-то никому, кроме них, не нужную стенгазету, и Надя почти плакала из-за их ослиной добродетели и оттого, что вечер уже идет вовсю, а на ней новое платье из розового шелка с оборочками и короткими пузырястыми рукавами. И когда они несли непросохшую газету через темный двор, их остановили общие родители и заставили развернуть газету на щербатом столе. При свете фонарей улицы они старались разглядеть статьи и карикатуры. Родителей, конечно, звали на вечер, но они не пошли, им было неплохо и здесь, и они, подмигивая друг другу, сказали своим ребятам, что те интеллигенты второго поколения, а они интеллигенты первого поколения. И это была правда, потому что все они были лекальщики, техники, наладчики, или механики, или мастера, или даже инженеры на ткацких фабриках, на «Ремзаводе», на «Ламповом», и за каждым из них или обломок реального училища, или техникум, или механические мастерские в прошлую войну. Уже тогда начинали размываться границы между рабочим классом и интеллигенцией.

Четверо газетных деятелей посидели с ними. Слушали, как родители гудят песни, которые ребята знали с детства. А потом, хмелея и припоминая, родители пели песни, которые они знали с детства от гимназистов и студентов. Потому что они гордились Благоушей и тем, что она становится образованной.

Они пели «Крамбамбули»:

Крамбамбули, отцов наследство,
Питье любимое у нас

И утешительное средство,
Когда взгрустнется нам подчас...

И пели:

Я гимназист второго класса,
Беда с наукою мне жить.
Учись, учись, твердит мамаша,
А мне уроки лень учить.

И еще пели:

Быстры, как волны,
Все дни нашей жизни.
Что день, то короче
К могиле наш путь.
Налей, налей, товарищ,
Заздравную чару.
Кто знает, что с нами
Случится впереди.

Тут они прогнали ребят, и те ушли в школу на вечер, повесили свою длинную газету с карикатурами и ели оставшиеся пирожные на пустых столах, и Лешка крутил радиолу, а Костя наяривал на рояле фокстрот «Последний летний день», и «Приориту», и «Брызги шампанского», и «Трот-марш», а Гошка танцевал с Надей.

Все было зыбко и непонятно на этом последней вечере и что-то было недосказано, недоделано, и к чему-то уже не хотелось возвращаться — поздно, поздно, надо было раньше думать, не доделывалось, откладывалось на потом, казалось, что школа это и есть нормальная жизнь, и она будет длиться вечно. И вот оказалось, что школа позади, и жизнь, наверно, тоже имеет свой конец.

И тогда они захотели разобраться во всем и втроем ушли с вечера.

Лешка сначала не хотел уходить и сказал:

— А кто за радиолу будет отвечать — Пушкин?

И они вдруг поняли, куда сейчас поедут.

...Он стоял огромный, бронзовый. И хотя он задумчиво смотрел на них сверху вниз, казалось, что он стоит рядышком.

Сколько пигмеев потом мы видели, перед сколькими поэтическими канцеляриями благоговели и содрогались, у скольких табличек — серебром по черному — жмурили глаза от невыносимого сияния, на скольких текинских и современных коврах трепетали коленями из-за своих не вытертых у порога ботинок, из-за уличной грязи, ненароком занесенной в литературное, художественное или научное святилище, сколько пародий на него читали, сколько анек-

дотов слышали, сколько раз его сбрасывали с корабля современности, сколько раз его святое, веселое имя как бы стушевывалось перед именами лягушек-волов, великанов-однодневок и прочих александрийских столпов-временок, а и до сих пор, когда дитя встанет под елку и скажет свои первые стишки, то мамки-няньки подумают вдруг с обманчивой надеждой — может, из тебя Пушкин выйдет? Потому что вот уже полтора столетия «Пушкин» есть нарицательное имя неложного величия.

Он стоял тихий и напряженный, а трое мальчишек думали о том, как ужасно, как страшно им не повезло, здоровым парням, стрелкам и боксерам, как не повезло, что не удалось повесить Дантеса на его собственных холеных усах.

Они стояли около памятника, и позади расстилалась необозримая еще школа, в которой пока было понятно только, что она позади, и хорошо, что есть Пушкин, и, значит, можно верить в личный талант, который вовсе не анархия, а норма будущих времен, веселая, как имя — Пушкин.

И когда они, попрощавшись, отошли уже далеко, навстречу вышла Надя с букетом цветов.

— Как ты догадалась, что мы здесь? — спросил Гошка.

— Мне Алеша сказал, — ответила Надя. — Он единственный среди вас порядочный человек.

— Я тебя звал.

— Ты же не сказал, что вы едете к памятнику.

— Мы сами не знали, — сказал Костя.

Надя молчала.

Тогда Костя и Рыжик попрощались с ними и ушли. А Гошка остановил такси, и Надя скользнула в машину.

Он остановил такси первый раз в жизни — деньжата, выданные ему на сегодняшний вечер, еще шевелились в карманах.

У Нади в доме был культ Пушкина, хотя Гошка подозревал, что это культ не столько Пушкина, сколько, так сказать, пушкинизма.

— Ты всегда хочешь отличиться, — сказала она. — Выскочка!

Лучше было помолчать, когда Надя такая, когда затрагивали их семейное право заведовать Пушкиным, лучше было промолчать. Но молчать-то было все труднее, потому что Пушкина Надя знала больше по операм, и вообще Пушкин принадлежал ей, так как Надя изучала французский язык, и Гошка не должен был без разрешения лапать все тонкое и изящное, что связано с пушкинскими временами, своими руками выскочки, который уже выскочил из школы, но вовсе еще не вскочил в поэты, а дом Нади если и не имел никакого отношения к поэзии, зато был наполнен поэтичностью разговоров о ней.

Правда, однажды Гошка написал стих, но никому его не показывал по двум противоположным причинам. Во-первых, Гошка изобра-

зил себя в военном эшелоне, уходящем из Москвы, а это было неправдой, и Гошка стеснялся, и еще он стеснялся слова «зад», которое вписалось в стих, и он тогда считал, что слово это в поэзии неупотребимо. Стих назывался «Прощание с Москвой».

Буфер бьется
Пятаком зеленым,
Дрожью тянут
Дальние пути,
Завывают
В поле эшелоны,
Мимоходом
Сердце прихватив.

Паровоз
Листает километры,
Соль в глазах
Несытою тоской.
Вянет год,
И выпивохи-ветры
Осень носят
В парках за Москвой.

Быть беде,
Но, видно, захотелось,
Чтоб в сердечной
Бешеной зиме
Мне дрожать
Мечтою оголтелой
От тебя
За тридевять земель.

Душу продал
За бульвар осенний,
За трамвайный
Гулкий ветерок.
Ой вы сени,
Сени мои, сени,
Тоскливая радость
Горлу поперек.

В окна плещут
Бойкие зарницы,
И, мазнув
Мукой по облакам,

Сытым задом
Медленно садится
Лунный блин
На острие штыка...

Надя на секунду вылезла из машины и положила цветы к подножию памятника. Ни один из мальчишек не догадался этого сделать, и им опять утерли сопли. Правда, Гошке почему-то показалось, что она положила цветы к подножию памятника бронзового, а они стояли у нерукотворного. Но может быть, ему это только показалось. Потому что у них с Надей через всю школу длился молчаливый спор о Пушкине.

Она секунду постояла у бронзового памятника, и по лицу ее, повернутому Гошке только детской щекой, он понял, что она что-то загадала. Потом она села в машину.

— Ты поедешь со мной к крестной? — спросила она не глядя.

— Можно... А что там? — спросил Гошка.

Лицо ее выразило облегчение. Видимо, от Гошкиного ответа зависело, сбудется ли то, что она загадала.

Машина, роскошное такси М-1, «эмка» тех времен, роскошно катила по улицам, освещенным роскошными фонарями тех времен, и по лицу Нади было видно, что Гошка уже почти Пушкин, а она Натали Гончарова, и сейчас будет роскошный дворцовый бал, и ей с Гошкой не стыдно, потому что он, неизвестно по каким причинам, считался талантливым.

У крестной были Рудик, Генрих и Виктор, а из девочек больше никого не было, Надя не любила женского общества.

Посидели, поговорили о том о сем, и крестная входила и выходила и ставила вино и закуски, и Генрих показал свой новый пуловер, который отец привез ему из Парижа, а Рудик рассказал пару анекдотов из дореволюционного учебника по французскому языку, который невнимательно изучала Надя.

Барышня: «Сколько стоит этот шелк?» Приказчик: «Два поцелуя за аршин». Барышня: «Дайте мне 15 аршин и получите у бабушки».

— ...Тонко, правда? — спрашивала Надя и отвечала сама: — Тонко.

Анекдоты как анекдоты, не хуже тех, что печатают в отделах «Иностранный юмор». И Надя говорила: «Остроумно!» — и еще не знала, что ничего не выйдет с ее мечтой. А мечта у нее была такая: она спускается по широкой каменной лестнице в длинном платье, а пажы несут шлейф, а внизу стоит некто в цилиндре и крылатке, опираясь на отставленную в сторону трость, и поджидает ее. Это она сказала Гошке в седьмом классе, в год пушкинского юбилея, и по ее описаниям этот некто был не то Онегин, не то Ленский, не то Собинов, не то Лемешев. По лицу Нади было видно,



...стихи назывались «Прощание с Москвой».

что хорошо, если бы это был Гошка, но для этого ему не хватает светскости и мешает талант (впрочем, неизвестно какой), а также его друзья Рыжик и Костя, а также все благушинские дворы с проплывающими над ними облаками и дирижаблями.

Тут крестная сказала, заглянув в дверь, что она укладывается спать и если не хватит вина, можно взять в серванте, а когда уйдете, не забудьте погасить свет. Ну, конечно, вина не хватило, и Надя поставила на стол графинчик.

Гошка до сих пор думает, что, если бы не этот графинчик, ничего бы не случилось. Черт знает, что это был за аппетитный графинчик! И вино в нем было рубиновое. Начали разливать вино, и когда разлили до конца, то увидели сюрприз, заключенный в этом графинчике, и стали смеяться и поддразнивать друг друга.

Оказалось, что на дне графинчика сидела матовая маленькая стеклянная свинья.

Она сидела на дне графина, поджав задние ножки и опираясь на передние копытца, и, припаянная к донышку, смотрела задумчиво и снисходительно. Она смотрела на Рудика, и, может быть, это было из-за стекла старинного графина, сквозь которое Гошка видел лицо Рудика, но они были похожи как две капли, только у Рудика лицо было потное, а у маленькой свиньи матовое. Сходство Гошку потрясло, и он с некоторым испугом отвернул графин в сторону. Но тут случилось неожиданное и неприятное. Когда он отвернул графин от Рудика, маленькая матовая свинья уставилась на Генриха, и его холеное мыльное лицо вдруг стало копией стеклянной морды. Это было, как будто кто-то приоткрыл заднюю стенку старинных часов, и вдруг все увидели колесики и пружины и весь механизм, который на циферблате поворачивает стрелки и командует временем этих старинных часов, маленькая свинка, маленький идол, которому все здесь — и Гошка, и Виктор, и Рудик, и Надя, и Генрих — поклонялись, сами не зная того. Гошка будто сразу догадался о чем-то и повернул графин чуть в сторону, и Виктор с длинным лицом стал похож на стеклянного поросенка, он еще повернул графин, и Надя... боже мой, и Надя, хотя Гошка видел ее только секунду, когда поворачивал свинью к себе, только скользнул стеклянным взглядом по пушистым косам и сливочному подбородку. И вот матовая свинья уставилась Гошке в лицо, и он смотрел на нее и узнавал знакомые черты, которые каждый день видит в зеркале, когда бреется или завязывает галстук. Гошка поглядел вбок, туда, где висело зеленоватое венецианское зеркало, и увидел свое матово-бледное прекрасное лицо поросенка с поэтически сверкающими пьяными глазами, роскошно уложенная челка свисала почти до бровей и галстук съехал набок. «Ну конечно же, это я,

конечно же, это моя миниатюрная копия сидела на дне графина, задрав ко мне обливной пяточок...» Конечно же, из всех ребят эта свинья была больше всего похожа на Гошку. Потому что они ведь в сущности не знают, что такое поэзия, хотя у всех без исключения были пятерки по литературе и все умели, чуть подвывая, прочесть стих и знали, что искусство украшает жизнь, только чем украшает, точно не знали и, видимо, думали, что украшает пятерками. Но Гошка-то ведь знал, что искусство не украшение, а существо той жизни, к которой мы когда-нибудь добреем, спотыкаясь на каждом шагу и расколов идола свинства, сидящего на дне души, Гошка-то знал это, и потому его ничто не извиняло.

— Але! — сказал он. — Поглядите... Вам не кажется, что мы с ней похожи друг на друга? Правда, похоже?

И тут все обратили внимание на свинью и на Гошку и начали смеяться, и Надя тоже смеялась радостно и зло, потому что ей было стыдно за Гошку, за снисходительный смех вокруг, за его шутовство, за то, что он принял удар на себя и тем разрушил тот облик, за который она цеплялась, чтобы объяснить и себе и всем, почему она с ним, а не с кем-нибудь из этого благополучного быдла.

А Гошка опять все поставил вверх ногами, и как же можно было начинать с ним новую жизнь, если он все оплевывает, а этого нельзя касаться, потому что не нами все это заведено и главное — это беречь репутацию, а если тебе твоя репутация не дорога, то мне моя дорога, потому что я хочу жить чистой жизнью, я не Нюшка какая-нибудь с твоего двора, я из другого клана, к которому если ты хочешь принадлежать, то, будь ласков, не отлучайся от Рудика, Виктора и Генриха, потому что других нет, а у них твердое место, ты-то ведь не находишь себе места и болтаешься вверх и вниз по всей лестнице и никто тебе не свой.

— Пушкин, — сказал Гошка.

— Что? — презрительно спросила Надя.

— Пушкин мне свой.

И хотя легко было смешать Гошку с грязью за то, что он, заливной поросенок, произнес все святое имя и осмелился сказать, что Пушкин ему свой, ему, благушинскому выкормышу, майоровской шпане, Надя этого не сделала, а только сразу замолчала, а потом быстро заговорила о чем-то другом, и стала совсем красивая, и стала смеяться, играя ямочками, чтобы заглушить Гошку, чтобы помешать ему развивать эту тему.

Потому что Гошка знал твердо, и она знала, что он знает, что во всей истории с Пушкиным, с его романами, с его величием и гармонией, со всем культом Пушкина у них в доме, со всем, что его окружало — от зеленого шелка и орехового дерева мебели тех времен до туалетов Натали Гончаровой, от полузабытых поэтов до

гусиного пера, во всей этой истории, от Анны Керн до черепаховых вееров и страусовых перьев, во всей пушкинской истории, поклоняться которой означало самой быть окутанной дымкой пушкинской поэзии, во всей этой истории с Пушкиным ей лично больше всего нравился — Дантес.

Вот в чем дело, граждане... Вот такая история.

Оба они знали твердо, что если копнуть поглубже и спуститься на самое дно души, еще дальше, чем алтарь стеклянного поросенка, то там мы обнаружим не Пушкина, а Дантеса, его убийцу, розового кобелька с пушистыми усами, который сначала очень испугался, потому что влип крупнее, чем рассчитывал, но потом успокоился и прожил чуть не до двадцатого века и тем доказал устойчивость стеклянной свиньи, на которую все смотрели и делали вид, что не понимают, в чем тут дело.

— Выскачка, циркач... — тихо сказала Гошке Надя, когда они наконец, вышли на тихую ночную улицу где-то в Замоскворечье.

Ночка была теплая, фонари ласковые, московские, и несмотря на первый час ночи, было еще много людей на улицах, на углах переулков, на скамейках скверов, возле досок почета, под светящимися часами и у чугунных перил потухших витрин.

Они шли веселые, юные и опьяневшие, хорошо одетые и устойчивые, и люди улыбались, глядя на них, на молодцов, окончивших школу и начинающих новую устойчивую жизнь, которая стала лучше и стала веселей, и в конце концов, черт возьми, разве не в этом дело! И Гошка глядел со стороны, как они веселятся, как Виктор и Генрих и даже толстый Рудик затеяли беготню, и Надя бежала под фонарями, совсем не так, как раньше, утомленно и еле двигая вытянутыми ногами, подражая какой-то из своих теток, а легко, юно и резво, показывая, что она открыто переменила позицию и теперь ей не нужна никакая дымка, если эта дымка требует чего-то большего, чем пятерка по литературе. К черту всякую дымку, если начинается новая устойчивая жизнь и можно бегать под фонарями, а потом возвратиться к компании, красиво и тяжело дыша, и торжествуя глядеть в глаза своему приятелю, который прекрасно понимает, что это в общем-то конец. Потому что ты сопляк, а я женщина, то есть жизнь, и жизнь тебя еще многому научит, если не перестанешь заглядывать на дно сосуда, — Пушкин ему свой, видите ли, ну так припомни, чем кончаются пушкинские истории, и потом цени, что я вежливая и согласна считать Дантеса ниже этого поэта. Но если ты меня выведешь из себя, то получишь правду, которая тебе вряд ли понравится, потому что для чего Дантес — я знаю, я от него нарожу детей, а для чего Пушкин — еще никому неизвестно, разве что украшать мою и Дантесову жизнь...

— Ты меня любишь? — спросила Надя, когда остальные раскуривали первые свои официальные папирасы.

— Да,— сказал Гошка.— Люблю. Не бойся.

И лицо у нее было несчастное, у победительницы.

Бедная девочка, столкнувшаяся с непонятным. Ей так хотелось жить лучше всех.

А наутро началась война.

Пустыри на рассвете,
Пустыри, пустыри.
Снова ласковый ветер,
Как школьник.
Ты послушай, весна,
Этот медленный ритм,
Уходить — это вовсе
Не больно.

Это только смешно —
Уходить на заре,
Когда пляшет судьба
На асфальте,
И зелень деревьев,
И на каждом дворе
Весна разминает
Пальцы.

Наш рассвет был попозже,
Чем звон бубенцов,
И пораньше,
Чем пламя ракеты.
Мы не племя детей
И не племя отцов,
Мы цветы
Середины столетия.

Мы цвели на растоптанных
Площадах,
Пили ржавую воду
Из кранов,
Что имели, дарили,
Себя не щадя,
Мы не поздно пришли
И не рано.

Мешок за плечами,
Папиросный дымок
И гитары

Особой настройки.
Мы почти не встречали
Целых домов,
Мы руины встречали
И стройки.

Нас ласкала в пути
Ледяная земля,
Но мы, забывая
Про годы,
Проползали на брюхе
По минным полям,
Для весны прорубая
Проходы...

Мы ломали бетон,
И кричали стихи,
И скрывали
Боль от ушибов.
Мы прощали со стоном :
Чужие грехи,
А себе не прощали
Ошибок.

Дожидались рассвета
У милых дверей
И лепили богов
Из гипса.
Мы саперы столетья!
Слышишь взрыв на заре?
Это кто-то из наших
Ошибся...



Глава четвертая

РАЙСКИЙ ЖИТЕЛЬ

1

На передней телеге были свалены японские нескладные гранаты, в которых надо было сначала слегка вывинтить боек, потом ударить о камень или приклад и только потом бросить, а также громада хороших винтовок «Орисака» со многими удобными выдумками, которых не было на наших трехлинейках, хотя на каждом ученье долбили, что наша трехлинейка — лучшая в мире винтовка, а чем она удобна, если с ней в окопе не повернешься, а защелка магазина всегда сбивается о камень, и сложный затвор. А к обозу уже подбегали солдаты и отвязывали красивых лошадей, и русские, эмигрантские, белогвардейские дети смотрели на них непуганными глазами. Гошка с автоматчиком Пешей остановили солдат, и они недовольно ушли, и весь обоз помаленьку начал подтягиваться к заднему двору здания, у которого были приветливо откинuty козлы, опутанные колючей проволокой, и во всем обозе начался тихий плач — оказалось, это было здание жандармерии. Гошка ничего не мог понять, он не спал трое суток, семьдесят два часа не спал, и не мог понять, чего они ревут, и орал на них, чтобы пошевеливались, потому что ему было обидно, — за кого они нас принимают, что мы, их жрать, что ли, будем без масла, и где взять другой такой хороший широкий двор, куда влезет весь обоз и можно задвинуть козлы и поставить автоматчика, чтобы этих чужих людей никто не тронул.

Это была Гошкина первая встреча с русскими, с эмигрантами, с белогвардейцами, и это было как во сне, как в кинофильме из гражданской войны — штурмовые ночи Спасска, и еще живы Лазо и Блюхер; и двигался обоз по шоссе, ведущему к городу, на улицах которого летала горящая бумага, исписанная сверху вниз иероглифами и утыканная красными овальными печатями. И этот странный сладковатый запах чужого быта, чужой еды, чужих пожаров,

в которых сгорала чужая страшная эпоха, когда маньчжурскую деревню, где вспыхивала эпидемия холеры, окружало жандармское войско и уничтожало артиллерией вместе с жителями, когда рис был запрещенной едой для маньчжур, а разрешались только гаолян и чумиза. И если какой-нибудь крестьянин из-под полы купил фунта полтора риса, отпраздновал свой день рождения или Новый год, выпил и его сорвало с голодной непривычки, выкинуло рис на дорогу, и если жандарм увидел рис, то крестьянина хватали и тащили в жандармерию и давали три года тюрьмы за то, что человек съел рис, который сам сеет, а в тюрьме его на всякий случай пытали на предмет возможных связей с партизанами. Но хватит пока про это, трудно жить в состоянии тоскливого ужаса за человека. Лучше рассказать, как Гошка встретился с Фитилем.

Памфилий встретился с ним первый раз у огромной пробки, возле моста.

В мост попала бомба и вырвала из него кусок с торчащими железными прутьями, который упал в реку на отмель.

Так все говорили — бомба. Но мы-то знали, что это работа японского диверсионного отряда. Единственная операция с участием русских. А вообще-то как только началось наше наступление, русские эмигранты перебили японских командиров и ушли в сопки, прихватив с собой семьи, а потом стали выходить навстречу нашему войску целыми обозами.

Часть, первую ворвавшаяся в город, становится его гарнизоном, а командир — комендантом.

Комендант велел Панфилову встретить их на шоссе.

Прибежал автоматчик Паша и сказал:

— Русские выходят.

И комендант города сказал:

— Давай.

На телегах сидели понурые мужчины в чужой форме, испуганные женщины держали на руках тихих детей, и к телегам были привязаны красивые лошади австралийской породы под хорошими кавалерийскими седлами.

Обоз вползал на утопанный плац, сворачивался в кольцо, и слышался тихий плач. Задвинули козлы, у колючей проволоки встал автоматчик, вечер был серый, а зелень черная, и затихал скрип телег. Вот и встретились.

Панфилов спросил:

— Кто у вас здесь старший?

Гошке было двадцать два года, он был глуп, как тетерев, ему хотелось спать, и одет он был пестро и неожиданно. Пехотная фуражка с красным околышем, которую Гошка выменял у корреспондента на его полевую, белая исподняя шелковая рубашка с подкатанными рукавами, распахнутая на грязной груди и запяленная

в зеленые шелковые, тоже японские, пижамные штаны на резинке, они были надеты на голое тело, подпоясаны брезентовым ремнем и заправлены в разбитые кирзовые сапоги, белые от пыли. Через плечо и на спину был перекинут маузер в комиссарской деревянной кобуре, а спереди в двух карманах пижамных штанов болтались две лимонки и били по ляжкам. Японские безопасные бритвы, может быть, и годились для чинки карандашей, но бриться ими было нельзя — выдерживали только щеки и подбородок, поэтому Гошка уже около месяца носил роскошные усы. Из всех странных нарядов, в которых щеголяет войско, вышедшее из боя, когда оно ползет по камням и проламывается сквозь стены домов и окна, Гошкин наряд, он лстыл себя надеждой, был самый странный. Панфилов только приготовился вздремнуть после трех хлопотных суток, и в глазах у него была пехота, пехота, которая движется по обочине волчьей цепочкой и ее почти не видно, потому что по дороге гонят технику, технику, и танки размолотили лессовую почву, и пыль стоит до третьего этажа, коричневая пыль движется по шоссе, и сверху не понять, какое войско движется. А на перекрестках Мулина стояли девочки-регулирующие, неразличимые в черной пыли, и как их не давили танки, просто непонятно, но когда Гошка прочел у Киплинга — «пыль-пыль-пыль-пыль от шагающих сапог», он подумал — ха, от шагающих сапог, нам бы ваши заботы.

Панфилов спросил:

— Кто у вас здесь старший?

И не понял, почему никто не отвечает, только слышно дыхание лошадей и коров. Гошка был глуп, как тетерев, и не понимал, что выглядит точь-в-точь как «красный большевик» на обложке эмигрантской агитброшюры, только во рту не было кинжала, с которого капает кровь.

— Какого черта, кто у вас старший... в вашем обозе, черт побери! — заорал он.

Тогда люди зашевелились и пропустили вперед священника.

Он шел медленно и, обходя колеса, придерживал длинную пядь. Он остановился от Гошки шагах в пяти и сказал, нажимая на букву «о»:

— Я... Я их отец... Они мои дети...

И закрыл глаза — наверно, думал, что его сейчас будут убивать, и в обозе начался тихий плач. А Гошка не спал семьдесят два часа и был обижен тем, что священнику можно закрыть глаза, а ему нет, и нужно устроить всю эту свалившуюся на него орду, и со всей язвительностью, на какую был способен тогда, Гошка просипел:

— Ах, вы их отец... а они ваши дети...

— Да, я их отец, а они мои дети.

— Так вот... Ежели вы их отец, а они ваши дети, то выделите людей, чтобы взяли в сарае рис и котлы, и сами сготовьте себе пожрать... Потому что ухаживать за вами здесь некому!..

— Пожрать? — спросил священник.

— Да! Пожрать, покушать, покормиться, поесть, потрескать, полопать, поэссен, пофрессэн, почифан, ам-ам! Что вы на меня смотрите, как слон на мандолину?!

Священник бледно посмотрел на Гошку и стал медленно садиться на землю, его подхватили два парня в желтых японских касках. И Гошке показалось, что священник засыпает, и даже послышался храп, и Гошка решил плюнуть на все на свете, и плюнул — тьфу! — черной от пыли слюной и пошел спать девяносто минут — хоть бросай атомную бомбу, тьфу! — если вы такие нежные, что на вас нельзя кричать, а на нас, значит, можно кричать, так вы полагаете, белогвардейцы несчастные? Гошка представлял, что он услышит, когда на него наступит шатающийся от недосыпа подполковник, потому что улегся спать прямо в коридоре жандармерии под ногами проходящих воинов, подстелив под себя соломенный мат «татами», который они еще на последнем издыхании приволокли с автоматчиком Пашей из соседнего дома и на который рухнули рядышком, как подкошенные незабудки.

Но все обошлось. Комендант спал в соседнем коридоре, и солдаты спали на этажах у дегтяревских пулеметов в разбитых кабинетах на столах, и в доме за эти полтора часа трижды сменилась власть, потому что проходящие через город части сразу кидались занимать этот удобный, большой, отдельно стоявший дом, а потом натыкались на круглое здание тюрьмы под замком и на непонятную орду за колючей проволокой козлов, и каждый следующий начальник пытался разбудить подполковника, но тот не поддавался и, не открывая глаз, говорил:

— Пошли вон. — И еще: — Паша, погаси свет.

Но Паша не мог погасить свет, он спал рядом с Гошкой, на «татами». И все обошлось, и атомную бомбу никто не кинул, и государственных тайн никто не украл, и им даже уши не отдавили.

А через полтора часа они все поднялись, как в детском саду после мертвого сна, и Панфилов пошел во двор.

Во дворе трещали костры, шкворчала каша в котлах, и автоматически доламывали на дрова козлы с колючей проволокой. И все ели, ели, кормились, питались и трескали этот рис, который наши уже не могли видеть, потому что питались им двадцать дней, остальная японская еда была непонятная — консервы, непонятно из чего сделанные, соленые (соленые!) фрукты в бочках и какая-то коричневая масса под названием «мисо», а они оторвались от своих

продуктовых баз, потому что двигались чересчур быстро для нормального войска. С сигаретами, правда, было хорошо.

Панфилов присел на оглоблю и закурил, и к нему осторожно подошел священник. Гошка подвинулся и кивнул ему, священник осторожно опустился рядом, и их осторожно окружили.

Гошка предложил ему сигарету, но он сказал:

— Прошу прощения, я не курю.

Честно говоря, Памфилий первый раз в жизни разговаривал со священником. А вокруг стояли и слушали люди, и как-то не верилось, что это белогвардейцы. Неужели все дело было в том, что им дали риза?

Священник сказал:

— Наши женщины считают вас падшим ангелом, простите.

Гошка всегда был обидчивым и потому считался грубым.

— Почему падшим? — спросил он.

— Падшим, потому что... — ответил священник, нажимая на букву «о», — прошу прощения... вы неверующий... атеист...

— А тогда почему ангелом?

— Ангелом за доброту.

«Неужели все дело в ризе, — опять подумал Гошка, — эх, жизнь, будь она проклята».

— Почему же это я неверующий? — сказал Гошка. — Я верующий, только по-другому. И еще я верующий в человека.

А вокруг стояли молодые мужчины, которым было самое большее год-полтора, когда их привезли сюда в Маньчжурию. А вот священник оказался бывшим казачьим офицером, и он стал расспрашивать о Москве, об улицах, о площадях, а вокруг стояли молодые мужчины в чужой форме и курили, курили и мотали головами, как лошади, потому что отдували дым в сторону, чтобы он не попал на Памфилия, и все время глотали и глотали, и кадыки у них ходили как поршни, как будто бы они все не могут никак проглотить эту проклятую рисовую кашу, и глаза у них блестели, как дгорающие поленья от колючих козел под черными котлами.

— А извозчики в Москве есть? — спросил священник.

— Нет, — сказал Памфилий. — Теперь у нас такси марки М-1.

— А ресторан «Яр» сохранился? — спросил казачий офицер.

— Нет, — сказал Гошка. — Там теперь клуб летчиков.

Впрочем, нужно рассказать, как Гошка познакомился с Фицилем.

Ночь на окраине. Ночь. Снег накрыл все, звуков нет, и хочется писать по-старинному. Потому что слышен вальс Крейсера.

Откуда Крейслер в новогоднюю маньчжурскую ночь? Это какой-нибудь хмельной солдат поставил патефон. Нет, не патефон, а виктролу — так ее называли местные русские, от фирмы «Виктор», а не «Патэ», как у нас. И это был какой-то другой мир, где у рус-

ских были не паспорта, а «вид на жительство», который потом наша консульская комиссия меняла на советские паспорта, и Панфилов читал в комендатуре биографии, наполненные тоскливым ужасом: «Я родилась в 1925 году в Дайрене, окончила в Харбине католическую гимназию Бржозовской и поступила в заведение мадам Симанжонковой, проработала там два года, заболела аппендицитом и была уволена. С тех пор работы не имела».

Прелестная девушка с круглым русским лицом и отличной бунинской речью. Аппендицит — это сифилис. А с венерическими болезнями не держали. Японские офицеры на редкость чистоплотные люди. У них даже в уборных такая чистота, что хоть операцию делай, а в стеклянном полушаре цветы вишни или хризантемы, как на бронзовой медали в честь победы над Наманханом — так, кажется, они называли Халхин-Гол. Они объявили, что Ниппонская армия там одержала победу благодаря покровительству богини Аматерасу, а мы знаем, что было все как раз наоборот. А вообще японские офицеры очень аккуратные люди. Что там цветы в уборных, у них и публичные дома были в большом порядке — маньчжуры могли ходить только в маньчжурские дома, а японцы могли ходить в японские, русские, корейские и маньчжурские, но не ходили, потому что в японских домах были и маньчжурские, и корейские, и русские девушки. Серое бетонное здание, с крышей, как у пагоды, и называлось это — храм небесной радости, кажется, девятого района — так именовались эти дома. А после посещения обязательно профилактика — тюбики с дезинфицирующей мазью. Их находили во всех казармах среди других лекарств.

В комендатуре был ленинградец, длинный парень, тощий как фитиль, младший лейтенант медицинской службы, его так и звали — Фитиль, имени его никто не запомнил. Очень он восхищался медикаментами, всюду их отыскивал и просил переводить названия и назначение, а медицинских терминов никто не знал, поэтому он приставал к эмигрантам. Медикаменты были хорошие. Например, йод — не в банках, как у нас, а в стеклянных палочках с ватным тампоном на конце. Обломаешь кончик, тампон намокнет, и обработаешь рану, как кисточкой, — прелесть. Или такие черные таблетки, которые надо глотать, если живот болит, — сразу проходит. Или такие длинные ампулы в картонных лунках. Фитиль спрашивает Гошку, тот не знает, спрашивает у эмигранта, тот отвечает — это невротин, на нервы действует. Фитиль прямо накинулся на этот невротин, набрал сто пачек. Спрашивает у этого старика эмигранта: — А в каких дозах его применяют и в каких случаях?

Старик ему отвечает:

— В каких дозах — этого я не знаю, а применяют его против обморока, когда используют чайники.

— Какие чайники?



...люди, которые выглядят слабыми, а на самом деле они силачи,
и когда-нибудь это будет заметно.

— Ну, какие чайники, обыкновенные,— объяснил старик.— С длинными носиками. Кладут человека спиной на наклонную доску головой вниз и из чайника льют в нос воду, настоенную на перце, или мыльную воду. Потом у человека наступает обморок. Тогда ему делают укол невротина.

— А дальше? — спрашивает Фитиль.

— А дальше можно начинать все сначала... Но вода с перцем это не так плохо. Гораздо хуже простая теплая вода.

— ...Почему? — сипло спрашивает Фитиль.

— Потому что от воды с перцем почти сразу обморок, а от теплой воды не сразу, и это хуже всего.

— А от фашизма ампул у них нет никаких? — спрашивает Фитиль.

— Фашизм — это в Италии,— говорит старик.— Здесь это по-другому называли.

— Мне лично все равно, как его называли,— говорит Фитиль.— А какие тем, кого этими чайниками...

— Ну да, конечно,— говорит старик.— Или тем, кого на салазки ставили. Не слышали?

— Нет,— говорит Фитиль.

— Нет,— говорит Памфилий.

Старика вызвали, потому что он был опытным механиком. В Маньчжурии он остался, когда построили КВЖД, в начале века. Его позвали открыть сейф в жандармском управлении. Он, когда узнал, в какое его здание зовут, чуть сознания не лишился и все бормотал, что он ни в чем не виноват. А если не виноват, чего трясется, никто сначала не понимал, а теперь начинали понимать.

— Ну, так что такое салазки? — спрашивает Гошка.

Фитиль уже ничего не спрашивает, только смотрит в окно. А там люди взад-вперед бегают, торговлишка началась, мальчишки «туфа» кричат, «ту-у-фа-а». «Туфа» — это такие белые ломти, наши сначала думали, что это творог, а оказалось — соевые несоленые бруски, и что с ними делать, никто не знал, так и сохли на подоконнике на старой газете.

— Салазки — это дубовые планки треугольного сечения, сколоченные поперечинами таким образом, что сверху во всю длину идет острый угол,— объяснял старик механик, как будто заявку на изобретение диктовал.— Человека ставят на колени на эти острия, и через полторы минуты острия планок прорезают одежду и мышцы до кости, и дальше человек стоит на этих остриях прямо на костях, на коленных чашечках...

— Делай свое дело, отец,— сказал Гошка.

Старик возился с сейфом, который наши не хотели взрывать, так как надеялись найти в нем личные дела жандармерии, а про старика говорили, что он может открыть любой наборный замок.

Жандармское начальство захватили не наши, а местное население. Наших-то было всего восемьдесят человек десантников, а танки подошли только на вторые сутки. Мы, когда летели, ожидали неприятностей — в городе куча белоэмигрантов, русские воинские отряды, отряды Ассано и Осайоки, а наших только три «дугласа» автоматчиков и несколько «максимов» и «дегтяревых». Местное население похватало жандармов, а через сутки подошли танки, а потом по Сунгари влетела флотилия, и моряки с криками «ура» пошли в атаку на берег и очень удивились, что город уже занят.

А теперь Гошка с Фитилем рассматривали документы штаба жандармерии Квантунской армии и смотрели, как старик механик, который строил еще КВЖД в начале века, теперь крутил и прислушивался, этот старик мог открывать сейфы по звуку — такой у него был опыт.

— А еще были арбузы,— сказал он.— Это человека зарывали на плацу по горло на самом солнцепеке, а на голову надевали жестяное ведро, выкрашенное черной краской. Через несколько часов ведро накалялось так, что лопался череп, как перегретый арбуз на грядке.

— Японцы...— сказал Фитиль и неумело выругался. Он был очень нескладный.

— Нет. Фашисты,— сказал Гошка.

— Да. Жандармы,— сказал старик.

У него были основания так говорить. Он остался на КВЖД после девятьсот пятого года — здесь все-таки было посвободней. Он, конечно, не был революционером, но он был студентом, и его тошнило от жандармов. А когда генерала Чжан Цзо-лина убили и японцы заняли три провинции, Маньчжурия стала называться Манчжоуджо с императором Пу-и во главе, и жандармы стали японские. Тут пошли всякие организации: союзы, разведки, японская военная миссия, жандармерия, полиция, союз монархистов, русские воинские отряды Ассано и Осайоки и даже русское общество фашистов, которым командовал Радзиевский, который отпустил длинную бороду и сказал, что сбреет ее, когда на белом коне въедет в Москву. И он действительно въехал в Москву вместе с генералом Семеновым после войны, тут их судили и расстреляли. А фотографии этих пытошников Гошка видал в эмигрантском журнале «Рубеж»: «Господин Фукабори-ичины жандармерии на встрече с господином Радзиевским (первый справа), руководителем русского общества фашистов», а на обложке журнала — генерал Семенов, пожилая британя охотничья морда с набриолиненными остатками волос. И в этом журнале были чьи-то хорошие стихи:

Уехать бы туда, где жизнь другая,
Не мучиться, не злиться, не любить,

Купить бы для разлуки попугая
И научить по-русски говорить.

И тут старик говорит:

— А насчет крысы не знаете?

— Какой крысы? — спрашивает Фитиль и икает.

— Может, хватит, отец? — спрашивает Памфилий.

— Нет, не хватит, — говорит Фитиль. — Все это чрезвычайно интересно с медицинской точки зрения.

— С человека снимают штаны и прикладывают сзади железную плетенку с крысой и потом раскаленными прутьями начинают шпынять эту крысу, она, обезумев, вгрызается...

Но тут Фитиль стал делать какие-то движения головой и отбежал в угол комнаты, где были свалены в кучу наручники и ордена, и его стало рвать на эту кучу разноцветного металла.

Гошке хотелось не то стрелять в кого-то, не то высыпать патроны в унитаз, а старик крутил диски с цифрами и прислушивался к замку сейфа — он был большой специалист. А потом сказал:

— Молодые еще... — и всхлипнул.

И замок всхлипнул. Отворилась дверь сейфа, толщиной с бревно, и Фитиль вытер лицо и ушел, и старик ушел, а Гошка вытер лицо и остался. Потому что кто-то же должен остаться, если хочет запомнить это на всю жизнь! Чтобы всегда безошибочно отличать среди всех сладчайших запахов эту вонь фашизма, которая остается вонью, как бы она ни называлась научно. Гошка сел у выбитого окна на ветерок проглядывать бумаги, было им с Фитилем тогда по двадцать два года, но Фитиль был честнее его, потому что Гошка притворялся железобетонным, листал эти бумаги и думал, как устоять, не поддаться слабости и найти в себе, в обыкновенном московском школьнике, ту стойкость, которая не позволит окостенеть и сломаться в нем человеку.

Того, что Панфилов искал в этих папках, он тогда не нашел, и узнал обо всем только несколько лет спустя, когда купил в киоске у метро «Охотный ряд» отчет о процессе в Хабаровске над бывшими военнослужащими японской армии.

Хватит. Невозможно. Иначе жизнь не мила и зеленый свет в глазах, как при тропической малярии.

Гошку спросил недавно один мальчик-журналист: «Вот вы, которые воевали, какой главный вывод сделали для себя?» Гошка сначала хотел уклониться от этого наивного вопроса, но потом понял, что уклониться нельзя, и ответил, что, на Гошкин взгляд, человечество сейчас разделилось на два сорта. На тех, кто считает, что после всего, что было, ценность одного человека понизилась, и на тех, кто считает, что она повысилась, ценность одного человека. Одни считают, что ничего не изменится в мире, если один из трех

миллиардов помрет, а другие уверены, что развитие человечества меняет свое направление, когда умирает один человек из трех миллиардов, потому что вместе с ним умирают заложенные в нем возможности.

Была такая мисс Найтингейль. У нее не было никаких способностей, она была только очень жалостливая. Ну какая же это способность? Это слабость. Но жалость у нее оказалась таких размеров, что она поехала на войну и стала лечить раненых не только своих, но и раненых противника. Это было первый раз в истории войн, и выпадало из всех рамок и норм, и казалось диким в те времена. Это было в Крымскую кампанию, а стало быть, она лечила и русских раненых. Но жалость у нее была такой огромной, что из нее вырос весь Международный Красный Крест, а потом и Полумесяц. Вот что может сделать неспособный человек, если он не считает себя неполноценным. Но это сложно и хлопотно и потому встречается реже, чем хотелось бы.

...Ну вот, а теперь уже совсем пришла пора рассказать о Фитиле.

2

Когда ехали в Маньчжурию, жары стояли страшные. Казалось невозможным представить себе карельские морозы и как ночью, во время снежной бури, рвались мины, когда падали сломанные сучья. А сколько этих мин было — ихних и наших, двадцать километров участок по фронту, восемьдесят в глубину, и они и мы оттягивались в свою сторону и клали эти мины без числа, и столько их было, что карты все перепутались к чертям, и когда началось наступление, танки, прокладывая дорогу, толкали перед собой деревянные катки, которые взлетали от взрывов.

От Москвы до Владивостока ехали полмесяца. Но это только так говорилось — от Москвы, потому что ее-то как раз и не видели, объехали стороной. Сказали, правда, когда уезжали с Карельского фронта, что везут в военные лагеря под Москвой, но потом эшелоны пошли все дальше и дальше, замелькали незнакомые станции — и вдруг Иркутск, а потом Байкал, и еще дальше, и еще, и вернулись домой, кто остался жив, только через год, в сорок шестом.

А тут стояла жара, в вагоны ломились отставшие от эшелонов. Армия двигалась на восток, и мало кто знал, зачем. Гошка с Сенькой Савицким знали.

— Ну, как? — спросил десантников рыжий генерал из штаба фронта. — Двинемся на летние квартиры? — и объяснил, какие квартиры.

В Приморской группе войск не сразу сообразили, что делать с прибывшими. Но потом появилось нужное начальство, и все устрои-

лось. Парни стали входить в курс предстоящего, а вечерами бывали в ДКА, и Гошка там даже танцевал с врачом высокого роста.

Но однажды ночью всех подняли и сказали — «началось». Сели в машины и, не гася фар, помчались к границе. Потом погасили фары, и стало слышно, что началось, — вдали грохотало и перекачивалось. Техники навезли немыслимое количество, артиллерии по пятьсот стволов на километр, через два метра — орудие. Квантунцы долбили свои сопки двадцать лет и прорыли в скалах муравьиные ходы и укрепили границу здорово, это были не финские бетонные доты, а скалы, утыканные орудиями и казематами. Дорога вилась между сопок, единственная, по бокам торчали страшные сопки — Офицерская и Верблюды, и взять их было нельзя, можно было только накрыть огнем, и еще «тридцатьчетверки» наезжали брюхами на амбразуры и прикрывали войско, которое проскакивало по серпантину. Проскочили только к утру, вскоре были уже на железнодорожной станции, где остановилось начальство с Первого Дальневосточного фронта. Сеньку Савицкого сразу угнали куда-то, и Гошка его не видел целый год, до самого отъезда из Маньчжурии.

...Возле полуразбитого моста ворочалась и колыхалась огромная пробка — люди, «студебеккеры», «форды», артиллерия, «тридцатьчетверки», кухни, лошади. Авиации у японцев не хватало, ее перегнали на Малайи, в Бирму, и такая привычная команда «Воздух!» почти не слышалась. Бои были артиллерийские, пехотные, танковые. Танки у них были плохие, «тридцатьчетверка» наезжала на пестренький камуфляжный танк, и он лопался как лягушка под коровьим копытом, и все же они были лучше приспособлены к дорогам, петляющим между сопок, и к жидким мостам, которые проваливались под нашими тяжелыми танками.

Через пролом в мосту саперы перекинули бревна, но их мгновенно размолотили первые четыре танка, промчавшиеся в город, да еще с краю, возле перил, просочилась кавалерийская часть и Гошкина машина с автоматчиками. После чего проезд закрыли.

...Когда уже мчались по дороге, обнаружили, что с ними едет какой-то парень с погонами младшего лейтенанта, с длинным носом, длинными ногами, в обмотках и ботинках огромного размера. Он все пытался просунуть между автоматчиками свои ноги.

Памфилий обернулся, когда услышал за спиной возню и кто-то ткнул его в спину ногой.

— Вы кто?.. Паша, кто он? — спросил Гошка.

— Не знаю, товарищ лейтенант... Вскочил у моста.

— Не имеете права... — сказал долговязый. — Я врач.

У въезда на мост Памфилий начал флиртовать с регулировщицей. Ребята подогнали машины, Потом Гошка вскочил на сиденье,

и «виллис» рванул по мосту. На той стороне Гошка оглянулся и увидел, что остальные их машины все-таки отсекли — не пустили.

— Врач... ну и что же? — спросил Панфилов.

Мчались по шоссе, пытаясь догнать танки и кавалерийскую часть. А впереди громоздился город за белесыми гаоляновыми полями предместий.

Было неуютно.

— Я знаю английский язык, — сказал Фитиль. — И начал изучать китайский.

— Давно начали? Почему именно китайский?

— Уже месяц. Случайно достал учебник.

— Понятно, — сказал Гошка. — Тогда мы не пропадем.

Этот медик получил назначение к кавалеристам и теперь догонял их.

Приближалось предместье.

— Я могу пригодиться, — сказал Фитиль.

— Помолчи, — сказал Панфилов.

Часть домов горела.

Маленький «виллис» жужжал по неуютным улицам. Серые высокие дома обступали машину, а что в этих домах?

Танки и конники как сквозь землю провалились. Притормозили на перекрестке.

— Тайпинлу, — прочел Фитиль название улицы.

На углу, сунув руки в рукава, стоял худой кореец. Он смотрел на них, потом улыбнулся. Они тоже. Кореец сошел с тротуара и подошел к ним. Ему с грехом пополам объяснили, что ищут сквозной проезд через город. Он помахал у Гошки перед глазами рукой и сказал, что ехать туда не надо. Но ему сказали, что надо. Тогда он начал объяснять, где проехать и куда повернуть, но понять было невозможно, и он ушел в ворота.

— Так, — сказал Панфилов. — Что будем делать?

Но тут кореец вернулся, держа в руках некий предмет, глядя на который Гошка задохся от зависти. Этот парень нес мечту благушинского детства — маузер в деревянной кобуре. В фильмах о гражданской войне такие маузеры носили комиссары. И стреляли, положив тяжелый ствол на сгиб локтя левой руки.

Кореец втиснулся в машину, махнул рукой, куда ехать, а Гошке было двадцать два года, и он смотрел, как этот парень вытаскил длинновольный маузер и насадил его на деревянную коробку, которая сразу стала прикладом, и умирал от зависти и твердо решил, когда все кончится, выменять этот маузер на что угодно. Гошка потом видел много маузеров, даже отряды маузеристов видел, оказалось — удобная штука для уличных боев. В Маньчжурии обнаружили кучу старого оружия, свезенного со всего света. Бульдоги, браунинги, смитвессоны, даже мексиканские винтовки (дальность

боя небольшая, но настильность отличная — пуля летит почти без траектории, поэтому козбои так метко лупят из винтовок, почти не прицеливаясь), у одного старшины был даже американский морской кольт и к нему четыре патрона, которые старшина свято берег, кольт болтался у него на длинных ременных лямках где-то под коленом и стрелял с пушечным грохотом. Но этот маузер в деревянной кобуре совсем другое дело. Гошка видел, как кореец насаживает маузер на приклад, и хотелось, как в кино, кричать: «Красные, красные!» — и, положив ствол на согнутый локоть и повернув фуражку козырьком назад, палить за правое дело. Парень показал, куда сворачивать, и «виллисок» жужжал по пустынным улицам.

Они кружились и кружились, пока не выскочили на вокзальную площадь с огромной клумбой посередине. Разбитый вокзал дымился.

И тут стало понятно, почему кореец отговаривал их ехать через город. Из вокзала начали выскакивать люди.

— Японцы, — тихо сказал Фитиль.

— Заткнись.

Их чуть не выбросило, когда сержант тормознул. И только когда «виллис» стал задом уходить за клумбу и этот парень начал палить из маузера, японцы открыли огонь.

Развернувшись, машина помчалась вправо, в сторону шоссе, к сопкам. Отстреливаясь, выскочили на противоположную окраину города. Справа тянулись одноэтажные каменные бараки.

Обошлось бы без единого выстрела, если бы этот парень не начал стрелять. Наверно, у него для этого были серьезные причины. Пуля попала прямо в голову, и кровь стекала черной змейкой по пыльному борту машины. Он был убит.

— А тебя сильно? — спросил Гошка Фитиля, у которого намочала гимнастерка выше локтя.

— Пустяки... Здело трицепс, — сказал он. Лицо у него было пыльное, и он зажимал локоть правой рукой.

«А он, кажется, ничего», — подумал Гошка.

Они рассчитывали, что догонят здесь танки, но танков не догнали, а отступать было некуда. Возвращаться к вокзалу тоже почему-то не хотелось.

И вот впереди возник каменистый двор, по обеим сторонам ворот торчали бетонные будки с бойницами, а у бревенчатых козел, оплетенных колючей проволокой, стоял часовой в каскетке. За плечами у него был ранец с притороченным шерстяным одеялом. Видимо, они собирались сниматься с места.

— Не замедляй хода, — сказал Панфилов сержанту.

У него стало холодно где-то в животе. Отступать было некуда.

— Ребята... — сказал он. — Чище... Авторитетней...

Автоматчики кивнули. «Виллис» с шиком взвизгнул тормозами:

Не торопясь они вылезли и вперевалочку пошли к воротам, держа автоматы стволами вниз.

Часовой стоял неподвижно. Памфилий взял его на мушку. Автоматчики откинули козлы. Часовой что-то крикнул тонким голосом, не поворачивая головы, и на крыльцо с бетонным парашетом выскочил стриженный под ноль жандармский подполковник. Увидев русских, он оскалился и сошел вниз, надевая фуражку. Остановился. Вытянул руки по швам и резко мотнул корпусом вперед. Поклонился и застыл. По-английски и по-китайски Панфилов с Фитилем повторяли ему одну и ту же фразу, одну и ту же мысль: «Город занят советскими войсками. Предлагаю сложить оружие». Жандарм долго молчал. Потом сказал:

— Я гувюрю пу-русски.

И отстегнул саблю и пистолет.

Часовой уронил винтовку. Подполковник посмотрел на него, тот поднял свою «Орисаку» и прислонился к стене.

И тут подполковник что-то крикнул.

Памфилий до сих пор помнит, что когда подполковник что-то крикнул, в мозгу прошла отчетливая мысль: «Вот теперь влипли».

Гошка потом спрашивал у ребят — у них возникла та же самая мысль. А когда на крыльцо начали выскакивать солдаты в желтой форме, у всех, и Гошка потом спрашивал об этом, возникла другая мысль, основная: «Ну, теперь надо держаться».

Когда человек думает так, он изгоняет страх и не боится. Поэтому что в нем возникает не гордыня — чувство вонючего превосходства, а гордость за то, что он человек и не может иначе.

Солдаты построились, глядя на своего подполковника. Полурота солдат в походном снаряжении. И Гошка подумал: «Только не молчать, а то ноги станут ватными и будет труднее».

— Приказывайте сложить оружие.

И подполковник приказал.

— Ну... — сказал Панфилов и пошел к ним.

Песок скрипел под Гошкиными подошвами, было светло и просторно, и воздух был летний и сладкий, чуть-чуть с дымком, как на даче. Памфилий подошел к крайнему, взялся за винтовку и дернул к себе. Но солдат привык ее крепко держать и только качнулся вперед.

— Ну... — сказал Памфилий, посмотрев в его вытаращенные глаза, и потрепал его по руке, сжимавшей винтовку.

Солдат открыл рот, как рыба на песке. И тут на секунду Памфилию показалось, что он рехнулся, у него появилось ощущение, что он однажды уже проделывал это. Хотя он знал твердо, что никогда не был в Маньчжурии и не разоружал японских жандармов. И Памфилий вырвал у солдата винтовку и швырнул ее на середину плаца. Она с лязгом ударилась о камни.

Этот звук решил все. Как будто они вдруг поняли, что оружие можно швырять на землю.

— Туда складывать,— сказал Панфилов подполковнику, тот перевел, и теперь солдаты выполнили приказание.

Они выходили по одному и осторожно, все еще осторожно, швыряли винтовку в кучу и снова становились в строй, и только последний швырнул ее с силой, зло, не доходя до кучи, она воткнулась штыком и торчала прикладом вверх, как на плакате. И он не встал в строй, этот последний, а снял свою желтую фуражку, похожую на жокейскую, вытер лицо и побрел прочь. Но подполковник испуганно окликнул его, и он вернулся в свою шеренгу.

И Гошка, как всякий человек, и до этого и потом иногда трусил, но ему, как всякому человеку, приятно вспоминать о тех случаях, когда он не трусил. И поставил автоматчика у кучи винтовок.

А потом подполковник отдал Панфилову связку ключей от усовершенствованной пустой тюрьмы. Она была связана со зданием жандармерии коротким коридором. В центре был бетонный помост для часового, а вокруг шли камеры, узкие, как пеналы, с решетками из вертикальных брусьев, с маленькими дверьми-пролазами, как для зверей. И Гошка с автоматчиками отпирали эти двери, и солдаты стали влезать туда на четвереньках и усаживаться у стенок на корточках, потому что в камерах не полагалось никаких лежанок и стульев, подполковник показывал, какой ключ от какой клетки, и в последнюю заперли его самого. Потому что он был один из тех, кто все это придумал.

И тогда Гошка вдруг вспомнил, почему ему показалось, что он уже однажды это проделывал. Это уже было однажды, но проделывал это Соколов. В России. Четверть века назад.

А потом Панфилов стоял на помосте с ребятами, смотрел на клетки, куда на этот раз действительно заперли зверя, и не было сил двигаться, и Гошка думал, как же сделать так, чтобы из этих клеток выпустить человека. И ребята об этом думали, хотя, конечно, уже другими словами.

Тут послышалось лязганье железа, и все увидели, что это пришел их подкидьш Фитиль, он уже успел отыскать ихний медпункт с прекрасными медикаментами, и сержант-водитель сделал ему перевязку. Теперь Фитиль перебирал наручники, сваленные в углу, и разглядывал их хитрое устройство.

Водитель принес лопату, и на светлом чистом бугре с жесткой травой они схоронили того корейца. Они притащили обломок бетона и красной краской от личной печати, которая нашлась в план-

шете подполковника, Гошка нарисовал звезду, понятную без перевода, и высадил в воздух из маузера всю обойму.

И все заторопились в это здание с пустым плацем и бетонными будками у входа, дом был целый, и архивы только начали жечь. Во двор на «студебеккерах» влетели автоматчики и начальство, надо было хоть бегом проглядеть бумаги и готовиться к высадке на «дугласах» в тот большой город, о котором уже рассказано. А через сутки Памфилий впервые увидел этот обоз с русскими.

Фитиль так и остался в части, потому что он пронюхал о предстоящей высадке и убедил начальника, что им будет необходим врач, и он знает английский и начал изучать китайский. А кавалеристы обойдутся без него.

И в тот же день к вечеру слышали, как кто-то поет и скулит. Фитиль шел по коридору, и в запястье ему вцепилась какая-то дрянь, похожая на кобру. Это он заинтересовался наручниками и обнаружил их хитрое устройство. Там была такая кривая зубчатая планка, и можно было застегнуть наручник по размеру кисти, но если надавить — защелка переходила на следующий зубец, и тогда наручники сдавливали кисть. При каждом движении защелка переходила на следующий зубец, пока Фитиль не взвыл, а ключей от наручников не было. Фитиль ныл и поскуливал и иногда завывал, когда дотрагивался до наручника, вцепившегося в кисть, пришлось вести его к технарям, там его зажали в тиски и стали пилить, и он выл, а когда его распилили и он освободил свою несчастную синюю лапу, он сплонул и сказал с удовлетворением:

— Больно!

— Так какого же ты черта? — спросил Гошка. — А?

Фитиль объяснил. Он хотел испытать на себе, что чувствовал человек, когда на него надевали эту штуку. Ему как врачу надо знать, может ли человек вынести это, и теперь он знает, что не может, и поэтому у него сильно изменилось отношение к тому подполковнику, который командовал полуротой, и если бы Фитиль сейчас его встретил, то он бы за себя не поручился и мог бы даже плюнуть ему в лицо, а может быть, даже влить еще пощечину.

— Ах ты Фитиль проклятый, — сказал ему в первый раз Гошка, и это осталось за ним навечно. Солдаты хохотали, и Гошка по-другому посмотрел на этого медика-подкидыша.

Очень трудно провести границу между тем, когда человек стреляет и когда он отстреливается, но она есть, эта граница. В любой драке, видимо, нужны люди, для которых легче быть убитыми, чем застрелить люди, которые выглядят слабыми, а на самом деле они силячи, и когда-нибудь это будет заметно.

Райскому жителю Фитилю приходилось туго. Он не стрелял, он только лечил. Он не мог видеть чужой крови, он только мог про-

лить свою. Он ползал как крот среди разбитых домов, искал медикаменты и изучал китайский язык, так как ему сказали, что тибетская медицина не признает операций, а только исцеления. На ногу одному парню упал вагонный буфер и перебил большой палец. Палец болтался на каких-то жилках, и его нужно было отрезать. Это был дебелый парень, и ему почему-то нужен был этот палец больше всего на свете. Он боялся, что его засмеют девки. Бывает и такой пунктик. Нашлись приятели, которые выкрали его из госпиталя, и Фитиль обнаружил его охающим на грязных нарах во взводе. Ступня уже начала пухнуть. И Фитиль, вместо того чтобы немедленно принять меры и отправить его на операцию, разыскал старичка доктора в огромных очках без оправы, и тот приладил обратно все перебитые косточки этого пальца и обмазал какой-то коричневой замазкой, выглядевшей как навоз, и велел поливать эту гадость, чтобы она не засохла. Через полторы недели с ноги сняли комок этой дряни, и под ней обнаружился целый палец, хотя и кривоватый, но свой и розовый. И Фитиль, этот озверелый гуманист, ходил по комнате, мечтательно улыбался поверх голов и, задирая длинные свои ноги в обмотках, исполнял какой-то весенний журавлиный танец. Все смотрели на него, и у них не было слов. А потом низкорослые солдаты увели его спать, обняв за талию, потому что не доставали до плеч. Потому что он был пьян, и это был второй случай, когда Памфилий видел его пьяным.

А первый случай был, когда Фитиль стрелял в людей.

...Когда старик, который открывал жандармский сейф, рассказывал разные истории о том, что можно сделать с человеком, и Фитиля начало рвать, и старик сказал «молодые еще» и ушел, а Памфилий не ушел и сел к разбитому окну поглядеть на папки с печатями, то на улице был летний вечер и мальчишки кричали «ту-фа-а» или, может быть, это было утро, потому что соевый творог продают по утрам, да, конечно, это было уже утро, потому что Гошка просидел до утра, разглядывая эти страшные папки, и на улице шла нескончаемая желтая колонна пленных, и это были обыкновенные люди, а не экзотические самураи со всякими там ритуальными хиракири и рыцарским кодексом «бусидо», крестьяне и рабочие и учителя, и потому их не надо было конвоировать, а только указывать дорогу домой, и на пятнадцать тысяч человек был один советский автоматчик. Гремели котелки, и сзади из-под кителей торчали концы вафельных полотенец, а у некоторых полотенцами были завязаны лица, чтобы не дышать пылью. Они очень устали, эти люди, и теперь возвращались из плена, в котором были много лет у тех, кто придумал эти сейфы и папки со страшными приказами, а из России они через год-полтора начали возвращаться на родину, и на пародах они пели «Сакуру» — «Вишню» и «Интернационал», и рвали бумажные ленты, которые они кидали на

берег. Они кричали: «Сайонара!» И некоторые из них кричали и плакали, а один огромный солдат, похожий на актера Андреева, рыбак с острова Хоккайдо, вытащил из воды сына убитого пограничника, когда он тонул, а теперь плакал и кричал в лютой тоске: «Бак-ка-на-ка-то-дэс!» — кричал он («Глупость! Глупость!»), и рвались тонкие бумажные ленты и тоскливо гудели пароходы. «Сайонара!» — кричали все — самое печальное японское прощание, которое означает — «Если так надо — прощай...»

И Гошка в эту ночь написал песню.

Батальоны все спят,
Сено хрупают кони.
И труба заржавела
На старой цепи.
Это тощая ночь
В случайной попоне
Позабыла про топот
В татарской степи.

Там по синим цветам
Бродят кони и дети.
Мы поселимся в этом
Священном краю.
Там небес чистота.
Там девчонки, как ветер,
Там качаются в седлах
И «Гренаду» поют...

Памфилий просидел до утра, стараясь забыть чудовищные рассказы старика. Под утро пришел автоматчик Паша и сказал:

— Товарищ лейтенант, у нас ЧП.

— ...Ну вот, — сказал Гошка.

— Фитиль, виноват, младший лейтенант, нарезался, виноват, то есть выпил.

— А-а... — сказал Гошка. — Понятно... Это он после вчерашнего... Ничего. С каждым может случиться.

Однако то, что рассказал Паша, может случиться не с каждым.

Фитиля долго еще рвало, и он глотал разные прекрасные таблетки. А потом напился. Ему достали солдаты. Он попросил, и ему достали. А что ж такого? Он вообще мог делать что угодно. Командир взвода подорвался на mine, его увезли в госпиталь, и целую неделю до прихода нового комвзвода Фитиль командовал. Гошка как-то зашел во взвод потолковать с Фитилем и вдруг услышал загробный гнусавый голос:

— Това-арищ младший лейтенант...

— Сиди,— сказал Фитиль.

Гошка ничего не понял. Оказалось, один из автоматчиков заснул на посту, и Фитиль, минуя военные законы, которые, как известно, не шутят, устроил над ним самосуд. Он приказал автоматчику лезть под нары и лежать там, пока его не выпустят. Попробовал бы Гошка приказать! Самолюбие бы не позволило подчиниться, и солдат мог схватить строгаача или угодить под трибунал. Но автоматчики знали, что Фитиль — это райский житель, и на неделю взвод превратился в какой-то детский сад. Они смеялись и гордились Фитилем, потому что ни у кого не было такого уникама, который страдает от чужой крови и не боится пролить свою.

И вот под утро пришел автоматчик Паша и рассказал, что Фитиль напился и стрелял в людей. Он вытащил свой «ТТ» и сказал, что пройдет к полицейской кутузке и будет стрелять в жандармское начальство, которое туда заперли, там низкие окна, и он достанет. Это было настолько невероятно, услышать такое от Фитиля, что ребята кинулись на него и скрутили только у самой двери и отняли пистолет, и он отбивался и кричал, что они дураки и не мужчины, если боятся уничтожить крыс. Они не знали, что с ним делать. А потом он успокоился и сказал, что пойдет сортировать свои медикаменты.

А наутро его схватили часовые у этой кутузки, где он стрелял в жандармов. Он стрелял в них из рогатки, которую сделал из резиновой медицинской ленты для бандажей, стеклянными ампулами невротина, которые брал из больших коробок, стоявших у его ног. Часовые испугались, и в кутузке среди жандармского начальства поднялась паника: они подумали, что это какое-нибудь химическое или бактериологическое оружие. Когда Фитиля схватили, он топтал ногами эти коробки с невротинном, рыдал и кричал в разбитые окна:

— Им же было больно!.. Вы... крысы... Им же было больно.

— Не троньте его,— сказал Гошка, холодея.— Он сломался. Даже танки ломаются.

После этого Фитиль воевал, как все.

...Фитиль. Райский житель, родившийся слишком рано.

Баллада о танке Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте:

Впереди колонн
Я летел в боях,
Я сам нащупывал цель,
Я железный слон,
И ярость моя
Глядит в смотровую щель.

Я шел, как гром,
Как перст судьбы,
Я шел, поднимая прах,
И автострады
Кровавый бинт
Наматывался на тракт.

Я разбил тюрьму
И вышел в штаб,
Безлюдный, как новый гроб,
Я шел по минам,
Как по вшам,
Мне дзоты ударили в лоб.

Я давил эти панцири
Черепам,
Пробиваясь в глубь норы,
И дзоты трещали,
Как черепа,
И лопались, как нарыв.

И вот среди раздолбанных кирпичей, среди разгромленного
барахла я увидел куклу. Она лежала, раскинув ручки,— символ чужой любви... чужой семьи... Она была совсем рядом.

Зарево вспухло,
Колпак летит,
Масло, как мозг, кипит,
Но я на куклу
Не смог наступить
И потому убит.

И занял я тихий
Свой престол
В весеннем шелесте трав,
Я застыл над городом,
Как Христос,
Смертию смерть поправ.

И я застыл,
Как застывший бой.
Кровенеют мои бока.
Теперь ты узнал меня?
Я ж любовь,
Застывшая на века.



Глава пятая

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

1

Ветры времени треплют шинель, бьют в глаза, и то, что было, — это то, что есть, никуда не уйти от этого, и прошлое живет и шелестит, словно трава под босыми ногами, словно ветер гоняет газету на вытоптанном дворе. А куда идти, куда глаз кинуть, если все разъехались, ушли, исчезли, отвернулись от детства, и ветер гоняет газету на пустом дворе.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Ну как ты?

— Ничего. А ты?

— Ничего.

— Все там же?

— Ага. А ты?

— И я там же.

Поговорили и разошлись. А где «там же»? Годы пролетели, ослепшие от крови, и где он «там же»? То ли в армии, то ли работает.

Вернулся ли с войны или из эвакуации, и боязно спросить о родных — живы ли, а как брат его старший — жив или мать воет над похоронкой?

Ой ты море синее, а тоска зеленая... Ты не плачь, не плачь, красавица... вода и так соленая...

Война окончилась, а Гошка служил.

После выставки на Кузнецком он пришел домой, посидел, посмотрел в окно на синий снег, лежавший на крышах благушинских домов, на дальнее серо-зеленое здание школы со слепыми стек-

лами, на черные точки пешеходов, подумал-подумал и заснул, положив голову на подоконник. И так проспал до утра и не видел снов — значит, встреча и выставка не зацепили воображения и не оставили следа в душе, все засыпал снежок.

Гошка проснулся, одурев от душного воздуха батареи отопления, которое почему-то называлось центральным, удивился этому названию и ополоснул лицо под краном, расстегнув китель, потом подумал и побрился, поскоблил подбородок опасной бритвой, опять удивился, почему бритва опасная. Утро было такое белое, такое новое и чистое, что все слова торчали отдельно и имели первоначальный смысл.

Что-то вдруг медленно, но верно начало торопиться в нем. Он торопливо пожевал хлеба и пайковой каши из концентратов и похлебал чаю, макая в него обломок колотого сахара, торопливо надел шинель и вышел на хрустящий снег. Торопливые звоночки трамваев, часовой в проходной будке штаба, где Панфилов без толку торчал уже два месяца после возвращения с Дальнего Востока. Торопливые штабные ребята в поскрипывающих коридорах, гудение лифта и стук машинок в кабинетах.

В кабинете было тихо. Двое парней подшивали какие-то белые бумаги с фиолетовыми печатями, и Гошка тихо взял свои бумаги, попытался понять, что в них написано, но почему-то в старых войсковых бумагах двухгодичной давности он увидел вместо танковых боев под Мулином и десантно-посадочных операций белый-белый снег на улицах Харбина в районе Фуцзядяня и неубитого еще тогда, непогибшего Фитиля в ушанке набекрень и ощутил запах кунжутного масла из харчевен. Памфилий вдруг понял, что не в состоянии вызвать в памяти ничего плохого, понял, что вот уже несколько часов он живет в двойном измерении. Одна часть его души млеет от тишины и наслаждается неподвижностью, а другая торопливо спешит и мчится куда-то. Это было странное чувство, оно что-то напоминало, но Гошка никак не мог вспомнить — что. Только к концу рабочего дня он почти с испугом догадался, на что оно было похоже, это чувство.

Оно было похоже на радость.

Это было настолько острое ощущение, что казалось невозможным. Как невозможно повторение детства с его верой в то, что все обстоит благополучно и уж, конечно, все несчастья прошли и о них можно, поживаясь, прочесть в старых книжках, и уж, конечно, тебя лично они не коснутся. Потому что неизвестно, за какие заслуги тебе выпала необыкновенная удача — жить.

Это было невозможное чувство. Но вопреки всякой логике оно было, это чувство, даже не чувство, а острое ощущение, и Гошка тогда впервые подумал, что, может быть, пора уже начинать изучать опыт радости, а не опыт беды.

Вот уже посинело за окнами, рабочий день двигался к концу, и Гошка вдруг слышал звуки, которых не слышал тысячу лет. Гошка слышал, как за окнами дворники скребли снег, и вдруг понял — ведь он же еще совсем молодой, а война кончилась, и вдруг это еще не конец, а только начало, не искореженное продолжение довоенной жизни, а начало совсем новой.

Дворники скребут снег, и он слышит звуки, и значит, придет весна, и откроют окна, и он услышит звон трамвая и крик воробьев. Нет. Радость не проходила.

Захотев испытать ее устойчивость, Гошка припомнил выставку — и ничего, тоска не появлялась. Ну что ж — значит, искусство, мечты о нем, догадка, что и Гошке предстоит прикоснуться к нему, не оправдались, и это не страшно, значит, Гошка будет не описывать, как люди дышат, а дышать. Потому что это очень приятно.

Вместе со всеми он спустился в лифте, вышел на улицу и обнаружил на редкость прекрасный мир, наполненный людьми с озабоченными лицами. Нет, его уже ничто не могло сбить на старое.

Гошка позвонил высокой дипломнице.

— Нину, пожалуйста. Але, Нина? Это Панфилов говорит. Ты что смеешься?.. — Гошка повесил трубку и лениво подумал: «Откуда она узнала, что я позову ее ехать к Николаю Васильевичу?» Хотя что тут удивительного? Она просто шла по внешнему кругу — молодого офицера пригласил в мастерскую академик живописи, офицер обрадовался и боится упустить случай — это же так интересно. Так оно и выглядело, так оно и было на самом деле, и, видимо, многие, с кем знакомился этот художник, поддавались его дружелюбию и торопились закрепить знакомство. Она только не могла знать, эта красивая девушка, что в промежутке между этой встречей в музее и этим звонком Гошке расхотелось жить.

Вчера пришел Костя Якушев и сказал:

— Гошка, пошли на выставку Кончаловского. На Кузнецком в Салоне выставка, как до войны.

— А чего я там не видел?

— Говорят, его скоро формалистом объявят. Аносов тоже пойдет.

...Им как говорили до войны? Надо стремиться к знаниям. Они и стремились, благушинские, люди окраины, как им было не стремиться, когда старшие твердили — не ленитесь, байбаки, для вас воевали со всей Антантой, голодали, старались, дома строили — вам в них жить, глотайте театры, выставки, библиотеки — будете знать все, что накопила культуры. Они и глотали. Но потом было три войны — финская, германская и японская, и Благуша стала, как

роща после обстрела. А потом, кто остался жив, вернулся на Благушу, оплакал свое положенное на душевных пепелищах, отскрипел зубами по ночам в лютой мальчишеской тоске и вышел на улицу с сухими глазами.

Начиналась зима. Кузнецкий был в мокром снегу. Пора уже менять офицерскую фуражку на ушанку, но не хотелось.

Гошка не любил ушанку. Завяжешь тесемки под подбородком — и сразу похож на младенца-кретина. Конечно, тепло, однако выглядываешь из шапки, как пес из будки. А в фуражке хоть и продувают все ветра, однако потрешь ладонями уши — и сразу чувствуешь себя человеком. А этого хотелось больше всего — быть человеком.

Пришли они втроем в Салон на Кузнецком и стали смотреть выставку Кончаловского. Костя на выставке делается как каменный. Ничего не соображает. Только улыбается. Он художник. Он мазки читает как ноты. С ним живопись разговаривает на «ты». Гошка тоже рисует, но на выставках его охватывает печаль, как будто заглянул в окно на первом этаже сквозь занавеску, а там елка и детишки в валенках смотрят на золотые орешки.

— Подожди, — сказал Костя. — Девчата знакомые.

Подошли его знакомые девчата, и Костя стал на них смотреть, как будто это не живые дипломницы-искусствоведы, а портреты дипломниц в багетных рамах, — прищурился и улыбался. Красивые такие девушки, которые все понимают в живописи и потому снисходительно относятся к чудачкам, которые ею занимаются, и ведь ясно, что важнее искусства всегда были комментарии к нему. Ну конечно, на Благуше в это не верили.

И тут Гошка смотрит — обе девушки как-то стали вести себя торопливо, а Костя напряженно.

Пол на выставке был хорошо натертый, и от этого в зале было холодно. По-разному люди держатся на скользком полу. Некоторые чувствуют себя неуверенно, теряют устойчивость. Некоторые чувствуют себя подтянутыми, способными на ловкие быстрые поступки — иногда это жулики. Простые души ощущают праздник — им хочется танцевать, звенеть бокалами и чтоб их заметили. А некоторые тупо движутся по зеркальному полу — так, по их мнению, выглядит хорошая жизнь.

Человека, который шел к ним по натертому полу, Гошка сразу понял, хотя и не знал тогда, кто он такой.

Его внешность кого угодно могла ввести в заблуждение. Полноватый, небольшого роста, в синем костюме с орденом Ленина на лацкане, нездоровое матовое лицо, приподнятые брови и еще прилизанные волосы и маленькие усики над чувственными губами сладкоежки. Представьте себе располневшего Макса Линдера с орденом на лацкане — какая-то смесь должностного лица с метрдоте-

лем. Все эти многочисленные детали схватывались мгновенно и должны были производить неприятное впечатление. Но этого почему-то не происходило.

Потому что во всем его облике ощущался странный вызов — вызов любой попытке привести его к любому убогому знаменателю, потому что приковывало внимание твердое и тоскливое выражение глаз чувствительного человека. А чувствительный человек это вот что: перепутанные сутки — неважно, засохшие остатки еды, находки и разлуки — неважно, и залпом литры воды из-под крана, и последнее отвращение от стопки бумаги или от костенеющего холста поперек комнаты — это все неважно, а потом лечь на матрац не раздеваясь, под пальто, и дрожать дрожью почти алкогольной и проспать двое суток, проснуться на рассвете, взглянуть и сказать — ничего, прилично, и поставить подпись, а потом осторожно уйти из дома и идти по улицам, где люди спешат на работу, и думать, что вот никто не знает, а дело сделано. Вот что такое чувствительный человек для тех, кто понимает в этом толк.

Девушки о чем-то болтали с ним, пока Гошка разбирался в своих от него впечатлениях, а он изредка поглядывал на Гошку с вежливой скукой. Ему мешала Гошкина военная форма, которая как бы понуждала его на преувеличенную вежливость к военным в лице их представителя; а этого ему не хотелось, как всякому человеку, гордому своим делом.

— А у вас что на дипломе, какая тема? — спросил он у той, что пониже.

Девчата хотели, чтобы он их консультировал.

— Античность в работах Серова, — ответила та, что пониже.

И вдруг он улыбнулся, и глазки стали маленькими, а брови взлетели.

— Ду-ушечка, — пропел он, — ну какая же античность у Серова?

— Ну как же! — испугалась девушка. — «Навзикая», «Похищение Европы»...

Кто-то сказал, что искусствоведы — это люди с самым прочным положением на свете. Ни один работорговец не может быть уверен, что рабы не взбунтуются, если он перегнет палку, — возьмут и перестанут работать, объявят сидячую забастовку. А искусстооведам это не страшно — все равно будут работать художники, не забастуют, проклятое творчество, ослепительная надежда на то, что добрая вещь останется, когда помрет и сам художник и искусствовед-одногодок.

Человек совсем весело заулыбался.

— Разве это античность? — спросил он ласково. — Античность — это полнокровие, здоровье, рискованность, а это... это... Я очень уважаю Серова, но это же, как вам объяснить...

— Журнал «Ди Кунст»,— сказал Гошка.— Одиннадцатый год. Розовые слюни.

Он сразу повернулся к Панфилову на каблуках, посмотрел на него снизу серьезными глазами и взял за форменную пуговицу.

— Попал...— сказал он.— Хотя чересчур категорично... Потому что молод. Но это пройдет. Я имею в виду молодость тоже. Только, душечка, к Серову это относится не очень. Мастер хотел попробовать — это его право. А потом приходят снобы и питаются объедками. Путают детей, а дети роняют слюни... вот эти... как они... розовые.

И, потянув Гошку за пуговицу, посадил на скамейку, обитую линиялым бархатом.

Девушки тоже сели, и Костя подмигнул и сел.

— Вы культурный мальчик,— сказал он Гошке.— Сколько вам лет?

— Двадцать четыре.

— И у вас, наверно, военная карьера?

— Карьера,— сказал Панфилов.

— Но вы, конечно, пишете?

— Немножко.

— Костя, покажите девушкам выставку,— сказал он.

У девушек были вежливые лица.

Костя увел их. Девушки явно подумали, что он выскочка. Выскочил, хотел показать свою образованность, переплюнуть их, а этого не было, честное слово. Гошка помог этому человеку сформулировать мысль, и тот понял это.

— Душечка,— сказал он Панфилову,— я тоже художник. Приходите ко мне. Вы мне покажете свои работы, а я вам свои. Запишите телефон.

Вот как.

Он ему свои, а Гошка ему — свои.

Вот он какой был, Николай Васильевич Прохоров.

2

Гошка, когда пришел к Николаю Васильевичу, ничего еще про него не знал. Не знал, что Прохоров из купцов-миллионщиков, что владел его отец на Благущей третьей частью всех ткацких фабрик, и Гошка с Николаем Васильевичем, стало быть, связаны странным родством. Потому что хотя слеплены они из разного теста, но посажены в одну печь — Благущу.

Благуща была песенная страна, там любили всякое искусство. Всякое. Там пели песни, которые сейчас вспомнить ужасно, и хорошие пели. И Гошка тоже пел и писал стихи и песни, а потом в армии писал и пел. И оказалось, что это для чего-то нужно, потому

что их пели. Но сам-то Гошка соображал — в высокое искусство с этим и на порог не сунешься, и потому не сказал Николаю Васильевичу о песнях. Стеснялся. Ему все казалось, догадается кто-нибудь и прочтет ему цитату из «Золотого теленка»: «В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред»...»

Гошка не сказал о песнях. Неловко было.

Снег. Снег падает. На Кузнецком белым-бело. Как Гошка мечтал стать художником! Но не стал. Он тогда думал, что не хватило смелости быть самим собой, а на самом деле он и был самим собой, только не понимал этого.

До войны про него говорили — разбрасывается. Чем он только не занимался. Но не доводил ничего до конца. Боялся монополии, боялся власти над собой какой-нибудь одной профессии, боялся потерять независимость. Он тогда не понимал, что профессия может стать призванием, то есть жизненной ролью.

Короче говоря, война кончилась, все кто остался жив, стремились демобилизоваться, а Гошка служил.

Всем этим болели и два Гошкиных приятеля. Но у них это проходило легче. Потому что оба они выражали себя лучше всего молча — Костя в живописи, а Лешка в научных экспериментах. Гошке же надо было непременно все произнести вслух, слово томило его.

И вот они вышли все на первый утопанный снег, на медленный, бесшумный от снега Кузнецкий, и Николай Васильевич вышел, лихо заломив шляпу, сел в такси и уехал, попрощавшись и сказав:

— Договорились?

Это насчет посещения его мастерской.

— Ну что? — спросил Костя.

— Не троньте его, — сказала высокая, — Гоша сейчас как во сне.

А вторая сказала:

— Это он умеет, очаровывать. Вот приедем в мастерскую, он всем наговорит тысячу вещей о Возрождении, закидает именами художников, он это умеет.

— Действительно умеет? — спросил Гошка.

Тут они сами наговорили три короба всякой всячины, и хотя все это было насчет его образованности и эрудиции, то есть о том, к чему должен стремиться дипломник-искусствовед, как-то так получалось, что их эрудиция — это хорошо, это прилично, а его эрудиция нехороша, неприлична и почти подозрительна.

Потому что, с одной стороны, он как бы посягал на искусствоведово добро, а с другой — пускал это добро в оборот, оно у него плясало, это добро, и выделявало антраша, в общем работало, а не хранилось на полках с обозначениями школ и течений. И дипломники даже завывали от раздражения, они кричали грубыми словами — эклектизм, эпигонство, нет своего лица, нет рисунка, нет композиции, эстетствующий натурализм, архаический формализм, провинциализм, изм, изм, — кричали они и притопывали озябшими ногами.

— А фашизма там нет? — спросил Панфилов.

И тогда и теперь Гошку интересовало только это.

— А фашизма там нет? — спросил Панфилов.

Они испугались и затормозили, сказали, что нет, фашизма там нет.

— Тогда, может быть, это своеобразие? — спросил Гошка.

Они обиделись и ушли. Потому что это им в голову не приходило, а пришло в голову постороннему военному.

— А в общем-то он человек странный, — сказал Костя и добавил: — Впрочем, только человек и бывает странным. Свинство начинается со стандарта.

— А что, они правду говорили, что он плохой художник?

— Правду. Только он не просто плохой художник, он плохой великий художник.

— Объясни, — сказал Лешка.

Он все время молчал. А когда начинали разговаривать — уходил смотреть сирени Кончаловского, портрет Алексея Толстого со снедью, битую дичь, зимние окна. Долго стоял у портрета жены Алексея Толстого, красавицы. Потом сказал, что она похожа на Шурку-Певницу. Была такая женщина у них на Благуше до войны. Инструктор райкома комсомола.

— А ты понимаешь, Памфилий? — спросил Лешка.

— Кажется, Рыжик.

Была такая книжка из серии «Жизнь замечательных людей», называлась «Стейниц и Ласкер». Про шахматистов. Вот чем Гошка никогда не мог увлечься — шахматами. Чересчур нервная игра. Как рыбная ловля. Хочется кому-то в морду дать, когда не клюет, а некому. Так вот, в этой книжке сравнивались Стейниц, открывший шахматную теорию, — он восемь лет был чемпионом мира, и Ласкер — двадцать семь лет был чемпионом мира, великий игрок. И там была поразившая Гошку мысль. Там говорилось, что если из истории шахмат изъять Ласкера, то шахматная история повернула бы в другом направлении.

— Понял, — сказал Лешка. — Хотя Стейниц играл хуже Ласкера...

— Значит, по-твоему, — сказал Памфилий Косте, — если изъять его из истории живописи...

— Сходишь, сам узнаешь что к чему, — сказал Костя.

— Я знаю одно,— сказал Гошка, и это была чистая правда,— я хочу познакомиться с человеком, который умеет очаровывать. Потому что меня давно уже что-то никто не очаровывал.— И это была чистая правда.— И я хочу, чтобы мне наговорили тысячу вещей о Возрождении и закидали именами художников. Не возражаю. Пойдем, ребята?

— Я не пойду,— сказал Костя.— Опасно.

— Почему? — спросил Лешка.

— Он мне как человек нравится безумно. Боюсь влипнуть в ученики. А он всех учеников подминает.

— Ну, мне это не грозит,— сказал Памфилий.— Я не художник. И потом, может, его ученики не тому у него учатся, чему нужно.

— Я тоже не пойду,— сказал Лешка.— Мне некогда. У меня заданий — во!

И он полоснул себя ладонью по кадыку.

Худые они какие, гражданские студенты. Не то что я, сытая рожа...

Э-эх...

3

Плохо живем, граждане, грыземся, накапливаем опыт — синяки, раны, память о гибели, могилы в песках, за битого двух небитых дают. Ну, а кому он нужен, битый, чему он научился, человек-отбивная? Осторожности? Так ведь всего не предусмотреть! Изучай трагический опыт, чтоб то не повторилось и это не повторилось. И все равно повторяется. А как бы это начать помаленьку изучать какой-нибудь другой опыт?

Неужели человечеству нечего вспомнить радостного? Может быть, настало время изучать и накапливать опыт радости, а не опыт беды?

Памфилий потом уже как-то пришел к Николаю Васильевичу. Тот грунтовал холст, лежавший на четырех табуретках, кинул флейц в ведро с клеем и сказал:

— Вот как, Гоша, теперь художник приступает к работе? Спорил до утра, поспал полтора часа, проснулся, похрипел, прочистил горло, покурил сигарку, ткнул кисть в краску и начал холст... А знаете, душечка, как в эпоху Возрождения приступал художник к работе? Он двое суток постился, потом ранним утром, на заре, приходил в мастерскую, запирает дверь на ключ... слышите? — запирался на ключ, садился на стул и два часа ждал, пока пыль осядет.

...Запрет же на минутку дверь и, пока осядет пыль, еще раз поразмыслим о Гошкиной жизни.

Гошка с детства открыл у себя одно странное уродство. Это была какая-то нелепая меланхолия. Когда выпадал первый снег, Гошка, вместо того чтобы топтать его, вдруг с пронзительной силой вспоминал, как — «помните?» — в прошлом году выпал снег, и каким он сам тогда был и что с ним было. Его охватывала необъяснимая тоска, и он говорил всем — и сверстникам и взрослым — «а помните, а помните...» — а они отмахивались от него и не могли понять, почему ему, дураку, прошлогодний снег дороже нынешнего. А объяснить он не мог. Что-то тоскливо останавливалось в нем.

Когда он признавался в этом, все смеялись, он понимал, что это какой-то детский порок, и надеялся, что это пройдет, и жаждал вырасти. Но это не проходило, и рассказанное нравилось ему больше увиденного, и это осталось навсегда, и ему по-прежнему музыка из чужих окон слаще шепота в своей постели. Но теперь-то он знает что к чему, а тогда не знал. Догадаться же о том, что он, может быть, поэт, ему долго мешало многое. И прежде всего то, что он не любил стихов.

Вокруг было море разлитое стихов, и в книжках, и в газетах, и по радио, и они Гошке не нравились. Тех, кто читал стихи вслух, он тихо ненавидел, а когда читал сам, перед глазами скакали буквочки, и он не понимал, для чего это нужно — укладывать буквы в аккуратные стопки. А потом Гошка заметил, что стихи не нравятся даже тем, кто их хвалит. В школе учительница литературы громко и оживленно читала: «Двигутся, движутся, движутся, движутся, в цепи железными звеньями нижутся... идут, идут, идут, на последний редут...» — и Гошке казалось, что ей стыдно, потому что это похоже на «Гей, ребята, все в поля для охоты на коня, лейся, песня, взвейся, голос, рвите ценный конский волос». В общем, то, что нравилось Гошке, не годилось никуда. Ему нравилась, например, беспризорная песня:

Ох умру я, умру я,
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает,
И никто не придет,
Только раннею весною
Соловей пропоет.

И у Гошки перехватывало дыхание, когда он слышал про раннюю эту весну. Но это была беспризорная песня, и поэтому не поэзия.

И ему нравился стих:

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
Косые скулы океана...

Но эти стихи Маяковскому только прощались тогда. И это Маяковскому, Маяковскому прощалось! Маяковскому, который думал, что он писал про Нетте, а сейчас понятно, что это он написал про себя:

Будто навек за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав...

А Гошка был непоправимо, неправдоподобно доверчив.

И вдруг именно песни прорвали плотину. Никто еще ни о чем не догадывался. Всем казалось, что это отдельные две песни — «Марш веселых ребят» и «Сердце». Именно две. Их пели все. И уже никто не обращал внимания на критику, которая говорила, что это торгсиновский фильм — «Веселые ребята». Все уже забыли и этих искусствоведов и что означает слово «торгсин», а песенка о сердце, которому не хочется покоя, и сейчас отзывается как старый звонок в доме, где когда-то ты жил, и запах лестниц этого дома тебе важней табличек с именами на дверях.

И вдруг хлынули песни. И стало ясно, как приятно воспевать человека — не водопровод, не метрополитен, хотя это вещи самые полезные для жизни. То есть сделать такое сочинение, конечно, можно, но оно почему-то не поется. И Гошка неожиданно понял, что есть разница между индивидуализмом и индивидуальностью, что индивидуализм под видом общего блага работает на себя, а индивидуальность, наоборот, — под видом работы на себя хлопочет об общей радости. Только это не всегда заметно, потому что и до сих пор еще не редкость, когда признаком хорошего тона считается, если ты не высываешься и сам похож на непроявленную фотографию.

Уже после того как Гошка стал бывать у Николая Васильевича и видел его в мастерской за работой, а это надо было видеть, это было не безнадежное тыканье кистью в тщетной попытке скоростью возместить отсутствие темперамента, и это не было заискиванием перед натурой, так вот, после знакомства с ним, однако же не раньше, чем определилось Гошкино отношение к его работам, он сказал Гошке, колдуя кистью:

— Скажите, душечка, почему так бывает? Вот поле пшеницы. Все колосья одного роста, а один колос на голову выше. Хозяин,

если он не дурак, сажает этот колос отдельно от всех и — глядишь — выведет лучший сорт. Так?

— Ну, так.

— А почему у людей наоборот? — сказал он. — Кто-нибудь на голову повыше выдался, а его по башке, по башке — не высовывайся, не обижай остальных.

— Как в трамвае, — сказал Памфилий. — В трамвае возле окон была такая надпись: «Не высовываться».

— Я это давно заметил. Не любят, когда высовываются. От этого как-то обидно делается многим. А поскольку в толпе не видно, кто кричал «ату его», то всегда можно потом сказать, что это сосед кричал. Недаром говорят, что гении не рождаются, а только умирают. И тогда оказывается, что друзей у покойника было видимо-невидимо, и непонятно, почему он задыхался от одиночества... Почему у людей все наоборот, Гоша?

— Так ведь это не у людей наоборот, — сказал Памфилий. — А у мещан.

Гошка и тогда и потом думал об этом. И как-то однажды он даже подвел итог:

Однажды я пел
На большой эстраде,
Старался выглядеть
Молодцом.
А в первом ряду
Задумчивый дядя
Смотрел на меня
Квадратным лицом.

Не то он задачи
Искал решение,
Не то это был
Сотрудник газет,
Не то он считал
Мои прегрешенья,
Не то он просто
Хотел в клозет.

А в задних рядах
Пробирались к галошам.
И девушка с белым
Прекрасным лицом
Уходила с парнем,
Который хороший,
А я себя чувствовал
Желтым птенцом.

Какие же песни
Петь на эстраде,
Чтоб отвести
От песни беду?
Чтоб они годились
Квадратному дяде
И этой девочке
В заднем ряду?

Мещанин понимает:
Пустота не полезна.
Еда не впрок,
И свербит тоска.
Тогда мещанин
Подползает к поэзии,
Из чужого огня
Каштаны таскать.

Он щи не хлебает,
Он хочет почище,
Он знает шашлык
И цыплят-табака,
Он знает — поэзия
Вроде горчишки
На сосиску. Не больше,
Нашли дурачка!

Но чтоб современно,
Чтобы не косность,
Чтоб пылесос,
А не помело,
Чтоб песня про то,
Как он рвется в космос,
И песня про тундру,
Где так тяжело.

Он теперь хочет,
Чтоб в ногу с веком,
Чтоб прогрессивно,
И чтоб модерн,
И чтоб непонятно,
И чтоб с намеком,
И чтобы красиво
По части манер.

Поют под севрюгу
И под сациви,
Называют песней
Любую муть,
Поют под анчоусы
И под цимес,
Разинут хайло,
Потом глотнут.

Слегка присолят,
Распнут на дыбе,
Потом застынут
С куском во рту.
Для их музыкантов
Стихи — это «рыба»,
И тискают песню,
Как шлюху в порту.

Все им понятно
В подлунном мире.
Поел, погрузил,
Приготовил урок.
Для них поэзия —
Драма в сортире,
Надо только
Дернуть шнурок.

Вакуум, вакуум!
Антимир!
Поэты хотят
Мещанина пугать.
Но романс утверждает,
Счастье — миг,
Значит, надо
Чаще мигать.

Транзисторы воют,
Свистят метели,
Шипят сковородки
На всех газах,
А он мигает
В своей постели,
И тихая радость
В его глазах.

Не могу разобраться,
Хоть вой, хоть тресни,
Куда девать песню
В конце концов?
А может, братцы,
Кончается песня
И падает в землю
Белым лицом?

Ну, хорошо.
А что же дальше?
Покроет могилку
Трава-мурава?
Тогда я думаю —
Спокойствие, мальчики!
Еще не сказаны
Все слова.

После той памятной выставки, где Гошка познакомился с Прохоровым, за спиной которого смеялись дипломницы, красивые девочки-несмышлениши, болтавшие о Возрождении, и Гошка понял, что эпохи Возрождения пока нет и уж, во всяком случае, ему-то со своими песенками в ней не участвовать, и потому это был крах всего, и Гошка решил покончить со своими дурацкими мечтами об искусстве, — он пришел домой, сидел у подоконника, смотрел на синий снег и вынес себе приговор, не подлежащий обжалованию. И тогда ему пришла в голову мысль, простая как репа. Он подумал: если все так худо, что хуже быть не может, — значит, все, что будет, будет лучше. Проверим это. Ведь если Возрождение — это эпоха, то она состоит не из одного человека, а из многих — и значит, надо не дожидаться, пока объявят расцвет всех личностей, а начинать с себя.

И вот он едет в такси с длинноногой дипломницей к Николаю Васильевичу и видит снег, и два полукруга на заснеженном ветровом стекле, которые разметают механические «дворники», и видит дворников с фанерными лопатами, сгребаящих снег в кучи. Во рту у Гошки папироса с разгорающимся угольком, и при каждой зажатке возникает напряженное лицо дипломницы.

Отличная мысль была — поехать к Прохорову. Потому что когда они подъехали, и вошли в подъезд, и наследили в лифте, который остановился на самом верху, и дальше полезли по крутым ступеням мимо каких-то старых колясок и эмалированных тазов, подошли к двери мансарды, постучали, и им открыл Николай Васильевич в

художнической робе и сером свитере, и провел их в мастерскую, Памфилий был сражен наповал.

...Среди всякогохлама и гипсовых слепков у стены стояла огромная, во всю стену, картина, о которой Памфилий, когда немножко отошел от странного оцепенения, только и мог сказать:

— Я не мог себе представить, что в Москве есть такая картина,— так он пробормотал и еще спросил:— Как она называется?

Николай Васильевич сказал:

— Она называется «Спор о Красоте». И этот спор я веду с детства.

— А где прошло ваше детство, Николай Васильевич? — спросил Гошка, трепеща и догадываясь.

— На Благуше, душечка,— ответил он.

4

Теперь пора рассказать о картине под названием «Спор о Красоте».

Для первого ощущения от этой картины годилось только одно слово — ошеломление.

Что там было, на этом гигантском холсте?

Там было все.

Гошка не знал, как бы он сейчас посмотрел на эту картину, когда в магазинах есть еда и одежда, когда на афишах имена иностранных артистов и реставрируются монастыри, когда можно смеяться над тем, что смешно, и жильцы квартир движутся к новым успехам от торшера к торшеру. Гошка не знал, как бы он сейчас посмотрел на эту картину, но в те голодные времена, когда сквозняки выли в пустых магазинах, а по ночам матери плакали над желтыми фотографиями убитых и школьницы продавали на толкучках старые платья, чтобы подкормиться на торфоразработках, и в пустых дворах ветер гонял газету, в те времена картина производила дикое впечатление. Потому что на этой дикой картине было все.

Это был удивительный гибрид антикварного магазина и гастронома, музея и салона. Там горящие свечи плясали тенями на парфенонском фризе, там были жесткие цветы и сверкающая парча, которую вздымали руки напряженных стариков, там холодели бронзовые кубки и синие сумерки за окном. Там кипела безвкусица, и это было гениально.

Это была пышность и нищета. Это было варварство вкуса и документ великой души. Это надо было или отвергнуть сразу или сразу принять.

Памфилий принял мгновенно.

Короче говоря, если бы живопись можно было описывать словами — она была бы не нужна.

Среди хаоса взбесившихся вещей, стряхнув с себя все, сделанное руками, все, достигнутое человеком и его искусством, скинув чулки, туфли, платье и кружевное белье, на голом трехступенчатом, щербатом от старости подиуме, спиной к зрителю сидела рослая обнаженная женщина, и синие сумерки из холодного окна освещали ее розовое тело и золотые венецианские волосы, а с левой стороны холста сам художник в халате, накинутом поверх костюма, сощурившись, поднимал кисть, прицеливаясь к единственному, что стоит назвать словом «красота». Вот что было на этой картине.

Просто сначала поражал сам предмет изображения, начисто выпадавший из нормальных для того времени сюжетов. Всякие там поля с травой или с рожью и бригадир с медалью и блокнотом, смотрящий вдаль, и еще были пионеры на лугу, которые тоже смотрели вдаль, все смотрели вдаль, и поэтому никто не замечал пошлости.

Цвет картины здесь равнялся цвету предметов, заполнивших холст. А это не одно и то же. Разница между музыкой краски и суммой красочных предметов такая же, как между стихотворением и поэзией, как между хорошей музыкой и громкой. Колорита в картине не было. А картина жила. Так тоже бывает, и тогда это чудо. Картина жила коричневатым, прозрачно струящимся тоном. Он светился и мерцал, сгущался в бронзу, в розовое тело, в кружева, и при взгляде на живопись хотелось сделать глотательное движение и хотелось потрогать.

Когда Гошка немного опомнился и стал понимать окружающее, он вдруг заметил, что, кроме него, Николая Васильевича и высокой дипломницы, в комнате есть еще кто-то. Какая-то женщина в шерстяном платье вошла в мастерскую, остановилась и повернула ко всем лицо спокойно-ироничное.

И Гошка сразу понял — это она, та самая, которая в картине.

— Познакомьтесь, — сказал Николай Васильевич. — Моя жена Алиса Сергеевна.

Почему, когда мы видим красивую женщину, нам хочется жить? Разочарование иногда наступает только при близком знакомстве, когда она уже не только красивая женщина, а еще и человек, характер, родственники ее, образование и какую она там еду любит. И потом они так быстро стареют — эти конкретные женщины. Конечно, Гошка, как и все, духовные ценности ставил выше физических. Только все почему-то бросят к чертям любой умный разговор, если скажут, что в соседней комнате сидит красивая женщина и на это разрешается посмотреть. Дело в том, что красота — это Вселенная в первом лице.

У человека неистовые желания. Человеку нужен весь мир. А так



...художник поднимал кисть, прицеливаясь к единственному, что
стоит назвать словом «красота».

как это нужно каждому, то где набрать вселенных, чтобы каждому по штуке? Вот и ищет один человек другого, чтобы найти в нем весь мир или хотя бы его малую модель.

Все застонало в Гошке, когда он увидел ее, увидел, как она движется, как откидывает за уши золотистые тициановские свои волосы. «Ну что ж,— подумал он.— Побуду сколько можно в этом доме, сколько вынесу — шутить этим нельзя,— потом уйду с молитвой за этого человека, за Николая Васильевича Прохорова.

Добро все равно побеждает. Это же ясно,— думал Гошка, уходя из этого дома, где ему мимоходом подарили Благушу, Возрождение, встречу с Афродитой и его самого.— Добро побеждает,— думал Гошка,— это же ясно. Если мы победили фашизм — значит, добро побеждает. И одна задача для тех, кто понимает это, одна мысль, одна страсть — сделать так, чтобы красота добывалась меньшей кровью.

Когда поймут, что счастье самая рентабельная вещь на свете, что оно окупается сторицей, тогда главной заботой станет помогать, а не отбирать, дарить, а не давить, и мотивом действий станет не право сильного, а обязанности сильного.

Эх, братцы,— думал Гошка,— если бы я был царем Земного шара, я бы издал один закон и отменил все остальные. Я бы приказал под страхом изгнания на Луну всем без исключения — и старикам, и детям, и министрам, и землекопам, и женщинам, и художникам, я бы приказал всем людям без исключения заниматься одним-единственным делом — делать друг другу подарки. Ну и зажили бы мы тогда! Мы бы тогда жили всю жизнь, а помирили только от нежности».

Так думал Памфилий этой ночью, когда снежинки плясали под фонарями, а на белых тротуарах кружились их светлые тени. И этой ночью ему приснился сон.

Только когда Памфилию приснился этот сон, до него наконец дошло, кто он такой.

Надо же быть таким дураком!

Ему и раньше снились сны, и когда он просыпался, он помнил обрывки. Иногда ему даже во сне приходило в голову проснуться, и он просыпался, и ему нравилось то, что он увидел, но полежав в темноте и трезвея, он помаленьку понимал две вещи. Первая — что это сон, следовательно, чушь, а вторая — ему так лень было вставать, что он тут же засыпал с мыслью обдумать все это завтра. Но наутро оставались одни обломки и странная горечь, как после удачно несостоявшегося свидания, когда чувствуешь для себя опасность любви и, стало быть, полной перемены жизни, а большей частью перемены-то как раз не хочешь.

Нужно было полностью не доверять себе, быть идиотом, чтобы не понять, кто ты такой и что с тобой происходит в жизни, не

ухватиться сразу, потерять столько лет на поиски себя. А может быть, и правильно, что не хватался сразу, может быть, что-то зрело в нем, и он чувствовал, что это еще не потолок, что он может больше. Видимо, что-то там в душе переполнилось, завершилась какая-то работа, и Гошка увидел этот сон.

Это был сон о прочитанном вслух рассказе.

Не картины жизни увидел Гошка — реальные или искаженные, — а услышал рассказ. Он видел во сне напечатанный текст, и текст звучал, одновременно он видел картины совершенно реальной жизни, и они почему-то состояли из букв и захватывающего полета, и он плакал во сне (так он думал), а когда проснулся, досмотрев, — оказалось, что он смеется. Гошка помнил и видел все до единой буквы и слышал все до единой картины.

Он в полусне дотянулся до бумаги — это была старая школьная тетрадь по арифметике, где на первой странице под решением задачи стояла косая красная отметка «хор». Хор запел у него в душе, и он не раздумывая начал подряд записывать слово за словом то, что диктовалось изнутри, хотя теперь наяву это уже не было обычным диктантом. Потому что диктант — это репродукция, запись готового, а он просто буквами рисовал происходящее, и оно заново возникало на бумаге.

Он зажег свет, чтобы писать, и тут же потерял первые фразы. Пришлось погасить лампу, и он стал писать при взлетающем свете уличных фонарей. Он писал до утра и утром, он не решился сменить позу — у него уже был опыт с лампой. Ближе к финалу он начал дрожать от усталости и голода, но продолжал писать, хотя и чувствовал, что кое-где комкает строки, начинает выполнять домашнее задание и его тянет на зевоту. Однако когда он попытался бросить, он почувствовал тоску, почувствовал, что не может, что какая-то сила ведет его руку, которая бежит по бумаге как чужая. Его охватила тоска, которую, наверно, испытывает загипнотизированная курица, когда не может оторвать клюва от проведенной перед носом черты — все продельвали это в детстве. Гошка вдруг понял, что это идет мимо него, что он уже фактически не нужен, что он может думать о чем угодно — рука все равно будет делать свое дело.

Какая-то угрюмая ярость плескалась в нем. Ни следа всякой там умиленности и восторга. И он тогда подумал, что, может быть, муки слова — это не тогда, когда не выходит, а тогда, когда получается.

Близился конец. Вот он уже видит впереди ненаписанную еще строчку, которую надо просто заполнить словами.

Заполнил. Конец. Школьная ручка с пером, — тогда говорили «вставочка», — остановилась.

Как будто и не было ничего. Ни длинного сна, ни исписанной

тетради по арифметике, о которой он лениво подумал: какую он там чушь написал. Он не испытывал усталости и голода, а только думал, что, слава богу, отделался от всего этого. Он взял ручку за выдохшее перо и кинул ее в дверь. Она воткнулась в центр дверной крестовины и задрожала. Ему понравилось. Он открыл перочинный ножик и пустил его вслед. Нож расколол ручку и воткнулся на ее место, и он не удивился меткости. Он стал кидать все, что находил под рукой,—ластики, карандаши, кубики брата, которые вытаскивал из-под кровати,—и все они попадали в ручку ножа и заколачивали его все глубже и глубже. В пустой квартире (все ушли на работу) стоял грохот от его бомбардировки.

Перекидав все, что было под рукой, он заснул. Когда проснулся, у него в животе были такие боли, что он не сразу даже понял, что это от голода. Он поднялся и шатаясь добрал до кухни и съел все, что нашел в кастрюлях и на подоконнике,—потом пришлось сказать, что приходили голодные приятели. Сытый и ослотившийся, он вернулся в комнату и спокойно, как чужое, прочел то, что написал. И как-то отрешенно понял—состоялось. И что бы ни происходило потом—этого не отнять, он знал теперь, кто он есть.

Это не вызвало в нем никаких эмоций. Как будто он услышал приказание на неизвестном языке, на которое ответил—«есть», не вникая в его смысл.

Он увидел нож, торчавший в двери, и ему понравилась утренняя меткость, он попробовал повторить этот эксперимент. Ничего не вышло. Все предметы шлепались куда попало.

Гошка потом читал этот рассказ разным людям, и рассказ на них действовал с удивлявшей его силой. Он читал этот рассказ разным людям и каждый раз делал это спокойно и почти механически. И каждый раз никак не мог понять, что в нем находят окружающие. Только, подходя к финалу, он начинал готовиться за несколько абзацев, так как на последней строке, самой ненавистой ему в момент записи, он должен был делать невероятные усилия, чтобы подавить плач.

О чем рассказ—не скажем.

Потому что он вдруг понял, что это—его собственное искусство, и ужаснулся. Он понял, что этот сон только сигнал. И еще подумал, какое же качество мыслей, какая степень искренности должны быть накоплены и какие темы затронуты, чтобы достичь той степени нужности, которой он добивался, если иногда пел песню, глядя человеку в глаза. «Нет, черт возьми,—подумал Гошка,—песня может равняться картине. Как насчет эпохи, не знаю, но одно никому не известное возрождение уже совершилось. Вот для чего искусство»,—понял Гошка. И он подумал, что прежде чем стать лириком, надо стать лирником, как те старики, что бродят

по дорогам, накапливают и раздаривают песни, в которых нет пустяков.

Прости меня, Афродита, богиня моя. Я из другой страны, я из города Лим. А город Лим — это ни Ад, ни Рай, в нем обитают души поэтов.

И Гошка отправился в путь.

Обрушивались годы, взлетали и падали судьбы, подрастали поэты и прозаики, изменялись формы, а Памфилий все не делал первого шага.

Когда однажды он очнулся и увидел, что выброшен на грязный заплыванный пол пустой комнаты своей бывшей квартиры — без дома, без семьи, без денег, без работы, без перспектив, без положения, без сил, без желания работать, — и только тогда стало ясно — или сейчас или никогда. Надо писать. Созрело.

Это случилось через семнадцать лет после того сна.



Глава шестая

ЭРГО ВИВАМУС — СТАЛО БЫТЬ, МЫ ЖИВЕМ!

Весна в этом году налетела, словно крик паровоза, когда по ночам дальний медленный стук колес уносит с собой сердце, которое вместе с Благушей плывет в неизвестность.

Примчался малоизвестный мальчик на трехколесном велосипеде. — Идут! — закричал он, врываясь в тень дома и мелькая полосатыми носками.

И вдруг показалось, что начали зудеть стекла.

— Неужели началось?

Вдалеке у перекрестка толпился народ, а по переулку бежали взрослые и дети.

Панфилов натянул куртку, и все сбежали вниз.

В конце переулочка стояла толпа, и дети сидели на плечах. Слышался нарастающий вдалеке грохот.

Сейчас начнут проскакивать «козлы», «виллисы», или как их там называют теперь, и в них будут сидеть офицеры с косыми рядами наград на мундирах, надраенные медали засверкают зайчиками. Потом грохот приблизится, пойдут тупорылые тягачи, синий дым заволочет улицу, в реве моторов беззвучно закричат дети, хоботы орудий будут целиться в светофоры и вдалеке появятся наползающие туши ракет.

Ну, вы же бывали на парадах, знаете, как это выглядит.

...Сегодня ночью Гошке приснился сон. Сон отличался романтической неопределенностью сюжета и отчетливостью высказанных идей. Эти идеи он забыл.

Ему приснилось, как они уезжали со старой квартиры. Уже все было решено и разгромлено, а коридор еще не трогали.

Когда взялись за коридор — брат и его товарищ, — Панфилов

не стал смотреть и прошел мимо вешалки, где уже не было пальто, а только пустая ниша с невыгоревшей краской, а внизу стояла корзина.

Панфилов ее помнил с незапамятных времен. На ней раньше были петли и замки, летом в ней хранились вещи, пересыпанные нафталином, а потом белье, потом груды старых ботинок, а потом школьные тетради. Он долго их не выкидывал, хранил, каждая тетрадь — это история, и помнишь все, что случилось в классе.

Это все не снилось ему, это то, что вспомнилось под утро. А снилось, как, пройдя по неразгромленному еще коридору, он увидел брата и его приятеля, которые, стараясь не смотреть ему в глаза, развернули над корзиной какой-то пересохший рулон, и Панфилов узнал в нем последнюю стенную газету, которую делали так долго, что опоздали на выпускной вечер, хотя вряд ли кого уже интересовали отгоревшие школьные страсти. А впереди открывалась тревожная просторная жизнь, и окна распахнуты, и во все дворы огромного рабочего района возвращаются с работы, и пахнет едой, и с улицы в комнату, где зубрят к экзаменам, залетают редкие всхлипы проскакивающих мимо переулков машин, и запахи бензина и духов, и можно выскочить из комнаты, побившись об заклад, что найдешь, кому принадлежат духи, и найти, а потом идти за ней до остановки, и помнить ее походку, и никогда больше не увидеть ее, потому что она всегда старше, и только сердце бух-бух, потом тик-так... потом совсем останавливается, когда она оборачивается, переходя улицу.

Но это все не приснилось Панфилову, а вспомнилось. А приснилось ему, как брат и его приятель отводили от него глаза, когда разворачивали хрустящий рулон посреди разгромленной квартиры. Потому что они понимали, конечно, какая ледяная пронизывающая мгла, какая тоска должна была навалиться на него, когда он увидел, как хрустит бумажная его юность. Словно куриные косточки в лисьих зубах, словно засохшие бинты, которые отдирают от незажившего твоего мяса, — а там еще только розовая пленка, и отдирать надо осторожно. Потому что иначе ведь брызнет вовсе не клюквенный сок.

А потом, ночью, свернули в трубу и понесли газету по пустой школе, и коридор был как дорога ночью после закрытия катка, или со школьного вечера, или с шефского концерта на «Электрозаводе», где артисты пели: «Тореадор, смелее в бой», и балерина танцевала лебедя, и школьники пели: «Среди них был юный барабанщик, он песню веселую пел, но пулей вражеской сраженный, пропеть до конца не успел», а оркестр австрийских эмигрантов играл на странных инструментах в виде пучка никелированных дудок и бил в барабаны, и ночью, когда падал снежок, и девочки шли впереди пересмеиваясь, и маячил бант на пушистой косе — была

Благуша, лучшее место на земле — старый московский район, похожий на рассыхшую корзину, где вперемешку лежали дворы, голубятни, пожарные сараи, бывшие доходные дома со шпаной и дома-новостройки с рабочим классом, булочные, рынки, ткацкие фабрики, краскотерни, кладбища, будки ремесленников, огромные заводы, дзоры с бельем, в которых пели: «Шумел, горел пожар московский», и «Эх, Дуня, Дуня-я, комсомолочка моя», и «Когда я был мальчишкой, носил я брюки клеш», и «Тут боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце разбито», как будто вся Благуша была как одно большое кафе поэтов, потому что первая пушка, которая пальнула по Кремлю с юнкерами, была благушинская пушка.

Но это все не приснилось Панфилову, а только вспомнилось. А приснилось ему, как он прошел по разгромленной квартире и чувствовал, как подкатывают слезы, и вошел в комнату, где уже не было ничего, потому что часть вещей уже перетасили в соседнюю, а часть вещей роздали после смерти мамы. Только на стене висело большое зеркало в дубовой темно-коричневой раме, и тут к глотке подошли слезы и стали душить и валить с ног, потому что — горе, какое горе! — он увидел в зеркале себя, хорошо одетого, с лицом по-женски перекошенным от тихого беззвучного плача, и за его спиной отражалась пустая голубая комната, и больше ничего не отражалось, а всегда в зеркале отражалась мама — как ни обернешься от окна, где торчишь на подоконнике и глазеешь на Благушу, которая вся трепещет и полощется, словно белье на ветру.

Тут Панфилов проснулся, и его все еще били рыдания. Потому что всего одна жизнь, и каждый день умирают клетки. Родятся новые, но старых не вернуть. Потому что старость — это отравление прошлым.

«Пора писать всерьез, — подумал он, — ничего не поделаешь. Прошлогодний снег стоял, новый еще не выпал. Тоска — это плохое горючее. Старые времена не изменишь, нужно не портить новые времена. Пора изучать опыт радости, а не опыт беды».

Он не расслышал звонка, и кто-то открыл входную дверь, и в комнату начали стучать — по-видимому, ногами.

А потом комната стала наполняться незнакомыми людьми среднего возраста.

— Ребята! — вгляделся Панфилов. — Ребята...

— Ты почему награды не надел?

— Вы же все в пиджаках, а у меня кофта.

— Кофту жалеешь, гад, — сказали они. — Крути дырки.

Но руки у него плясали, и ребята сами провернули дырки на полосатой шерстяной кофте и привинтили что положено.

— Ребята, — сказал он. — Ребята...

— Прежде всего выпей.

И тогда Панфилов выпил — и прежде всего и потом — и сразу разросся на всю квартиру, и на всю улицу, и на всю страну, и на весь белый свет, потому что он тоже загоразживал детей от фашистов, и это его праздник.

И тут показало, что начали зудеть стекла. Гошка натянул куртку, и все сбежали вниз... Ну, вы же бывали на парадах, знаете, как это выглядит. Главное всегда — разглядеть солдат. Какие они в этом году? Хозяева грохота или растерянные пасынки техники? Особенно в этом году — через двадцать лет после Победы.

И Панфилов стал смотреть на тех солдат, которые проезжали, и на тех, кто стоял на тротуарах. А рядом были все свои — Мишка, брат Зинки Бакановой, общей яростной судьбы благушинской шпаны, бывший Гормоза — морской подполковник в отставке, и еще кое-кто из живых, и даже пара малоизвестных голубятников. И тянула-вытягивала длинную свою шею некая приезжая Ирина. Она родилась в Куйбышеве — туда благушинские заводы эвакуировались в первый год войны. И хотите верьте, хотите нет, но в этой долговязой Ирине не было ни-че-го — Гошка мог поклясться, — ни-че-го от Миноги. Но было кое-что, самая малость, от красавицы Нюшки, ее матери.

...Остальных он не разглядел, потому что теперь он смотрел на бронетранспортеры с белыми эмблемами парашютов на бортах. Там сидели мальчишки.

Все в порядке.

«Война» — ненавистное слово вонючих сверхчеловеков, суперменов, но в этих бронетранспортерах мчались Люди Сопrotивления. Все в порядке. Стало быть, мы живем.

Гошка подумал, что всегда писал именно для них, для солдат Сопrotивления, которые проезжали сейчас мимо, и для тех, кто стоял на тротуарах, потому что в лицах их он узнавал и Чирея, и Соколова, и Прохорова, и Фитиля, и Пушкина, и любого ребенка на улице. И потому он стал лирником, и писал и пел песни, и все жаргоны плясали в нем, а ему говорили, что манерничает, а это душа его маялась, пытаясь выразить себя и бесчисленное множество людей, которых он любил.

Он стоял и думал:

«Я возвращаюсь. Может быть, вам наплевать на это, но я все равно возвращаюсь из дальнего путешествия. Может быть, вы и не узнаете об этом никогда, но я возвращаюсь! Нет, конечно, узнаете. Как вы можете не узнать? Кем бы я ни стал — вы узнаете об этом. Даже если я поступлю в дворники к вам в дом — я буду не из последних дворников и постараюсь стать первым. Черт побери, ведь это же великолепно, стать великим дворником! Вы представляете, что я тогда сделаю с вашим двором? Вы же пере-

станете ездить на курорты, а туристы из-за границы будут за год записываться в очередь, чтобы попасть к вам во двор. Или я пойду в разносчики заказов — я буду звонить в ваши квартиры и приносить сахар и сосиски, и на лестнице будет стоять хохот от моих дурачеств, исчезнут ссоры домохозяек, двери, ожидая гостей, будут распахнуты, как улыбки, дети будут висеть гроздьями у меня на руках, хмурые пенсионеры станут танцевать, как кролики, все работающее население в этот день перевыполнит план на миллион процентов, а их начальники в растерянности станут снимать шляпы перед курьерами. Господи, как много счастливых профессий! Если поэзия это душевное лекарство — ее надо иногда взбалтывать перед употреблением. Господи, какое это блаженство — добровольно служить!

— Нет,— подумал Гошка,— не умирать вместе, а жить вместе. Человек, чувствующий силу родить, умирать не должен — не пришел его срок».

Панфилов не знал еще, что с ним будет дальше, но если жизнь может быть прекрасной, не исключено, что она и будет прекрасной.

...Давайте попробуем
Думать сами,
Давайте вступим
В двадцатый век.

Слушай, двадцатый,
Мне некуда деться,
Ты поешь
У меня в крови.
И я принимаю
Твое наследство
По праву моей
Безнадежной любви!

Дай мне в дорогу,
Что с возу упало —
Вой электрички,
Огонь во мгле.
Стихотворцев много,
Поэтов мало.
А так все отлично
На нашей земле.

Прости мне, век,
Танцевальные ритмы.

Что сердцу любо,
За то держись.
Поэты — слуги
Одной молитвы.
Мы традиционны,
Как мода жить.

Мы дети эпохи,
Атомная копоть,
Рыдают оркестры
На всех площадях.
У этой эпохи
Свирепая похоть,
Все дразнится, морда,
Детей не щадя.

Не схимник, а химик
Решает задачу.
Не схема, а тема
Разит дураков.
А если уж схема,
То схема поэмы,
В которой гипотеза
Новых веков.

Простим же двадцатому
Скорость улитки,
Расчеты свои
Проведем на бегу,
Давайте же выпьем
За схему улыбки,
За график удачи
И розы в снегу.

Довольно зависеть
От прихотей века,
От злобы усопших
И старых обид.
Долой манекенов!
Даешь человекaв!
Эпоха на страх
Исчерпала лимит!

Мы рваное знамя
«Бээфом» заклеим

И выдуем пыль
Из помятой трубы.
И солнце над нами
Как мячик в аллее,
Как бубен удачи
И бубен судьбы.

Отбросим заразу,
Отбросим обузы,
Отбросим игрушки
Сошедших с ума!
Да здоровствует разум!
Да здоровствуют музы!
Да здоровствует Пушкин!
Да скроется тьма!

Панфилов все-таки нашел ее, Благушу. Ноги сами привели его туда, пока он читал Ирине этот длинный стих.

Напротив дома Нади, на другой стороне Большой Семеновской улицы, всегда был такой высокий забор, что из-за него торчали тодько концы железных труб и крыша-скворечня, а сам забор еще стоял на каменной кладке выше любого мальчишеского роста, и потому этого двора никто никогда не видел.

Сначала они зашли в маленький дворик Нади... (А они зашли туда, все-таки зашли. Панфилов сказал:

— Знаешь, здесь два шага от метро, через два дома.

Ирина сказала:

— Пойдем.)

Нельзя сказать, что Панфилов был охвачен «безумным волнением» или что к горлу у него «подкатывали слезы», но он был спокоен как-то по-особенному. Да еще рядом идет человек, от которого ждешь почти невозможного — чтобы он все увидел твоими глазами, чтобы ощутил сразу и то, что видит сейчас, и отошедшую твою жизнь, и то, как ты сейчас на это смотришь. Ирина держалась так безразлично, что Панфилов засомневался вводить ее, чужую, туда, где чужому не место. Они зашли во двор.

Общеизвестно — места, которые в детстве казались большими, взрослому кажутся маленькими. Нет. Двор был такой же. Он и тогда был крошечным. Палисадничек, сарай из ржавого железа, скамейка, таз для белья, прислоненный к стене. Вот эта дверь, всегда облупленная и распахнутая наружу, а над ней старинный железный навес со ржавыми кружевами кронштейна. Трава.

Она остановилась и оглядывала дворик, и смотрела на закатное небо, и слушала вой электричек, пролетающих где-то высоко за

цементными серыми заборами, и на сгибе локтя у нее висела белая сумка.

«Не понимает»,— подумал Панфилов, хотя она здесь почему-то казалась на месте со своими серыми глазами, чуть вздернутым носом и нижегородскими прямыми бровями. И еще подумал: «Кто она, дочь красавицы Нюшки или Миногина дочка?»

Он поколебался и вошел в дверь, спустившись на ступеньку. Прямые доски уходили в полутьму, и там тоже была каменная плита ступени. Под лестницей справа стояла пустая детская коляска. Панфилов подошел к запертой двери, приоткрытой из-за разболтанного замка. За этой дверью сразу же была вторая, для тепла, и образовался маленький тамбур, где успевали поцеловаться. А дальше шла темная прихожая, и влево можно было войти в большую комнату со старой мебелью в чехлах, комнату на две неравные части разделяло пианино с откидными подсвечниками. На стенах были обои в полоску, висели расписные тарелки и картина без рамы, изображавшая Надину маму в прическе двадцатых годов — подарок одного знакомого художника. В этой комнате Гошка вцепился когда-то в томик Грина, и Гошке его подарили.

Нет, Панфилов не зашел, конечно, он только постоял в полутьме около коричневой двери с облупившейся краской и вдыхал знакомый запах, все тот же неизменившийся смешанный запах керсиновой копоти и оладьев.

Да, запах был все тот же. Запах пола, стен, лестницы, двери. запах прожитого детства. Прошло почти тридцать лет, прошли три войны и двадцать лет после победы, а запах был все тот же. Панфилов подумал, что кто-нибудь выглянет, а ему надо было еще поделиться этим, надо было поделиться.

— Зайди сюда,— тихо сказал он, высунувшись из двери.— Скорей...

В доме слышались голоса, а из окон, обращенных во двор, наверно, глядели на Ирину. Панфилов боялся, что кто-нибудь спросит, кого они ищут. Что он мог ответить — запах прошлого? А врать сейчас он бы не смог.

Она вошла. Странно так было видеть ее здесь. На прямых светлых досках пола, на каменной плите ступеньки, возле той самой двери.

— Вдохни запах,— сказал он тихонько. — Скорей...

Она вздохнула и вдруг, чуть подняв глаза к потолку, усмехнулась.

— Понимаешь? — спросил Панфилов, уже поверив, что она поняла.

— Конечно,— сказала она.

— Ну, идем. Живей,— сказал он.

Он еще раз оглянулся на открытую входную дверь.

— У меня есть этюд этой двери. Костя писал. Я тебе покажу.

Она кивнула, и они вышли со двора на улицу. Конечно, улица теперь показалась большой после этого дворика, и стало понятно, почему она Большая Семеновская. Самая большая Семеновская на свете.

— Еще последнее,— сказал Панфилов.— Надо посмотреть на окна. Только не разглядывай сразу. Я тебе покажу, какие.

— Конечно.

— Вот. Первое, второе и третье. Дальше жила ее двоюродная бабка, которая шила ей платье к выпускному вечеру.

Окна были занавешены. Как всегда.

— Я шел за ней после катка ночью метрах в пятидесяти, потом она входила во двор. Я дожидался и подходил к окнам. Ничего не видел, только волновался. Потом уходил. Ну, все. Пошли.

Она кивнула и отвернулась от окон. Прохожих сейчас почти не было. А те, что были, торопливо шли по домам и к метро, но Панфилов старался не привлекать внимания, не подавать вида, что они только что разглядывали окна. Вот как это было.

...И все-таки он увидел Благошу.

На противоположной стороне улицы теперь уже не было забора до небес, а осталась только высокая каменная кладка, постамент выше человеческого роста, и там, между двумя домами — коробкой Деревообделочной фабрики и угловым домом переулка, ведущего к Телевизионному театру, бывшему Театру Моссовета, бывшему Введенскому народному дому,— открылся двор.

Двор был виден снизу, в ракурсе. Высокая трава уходила вглубь, свешивалась с пьедестала, а в глубине, как на театральной сцене, были видны несколько деревьев у кирпичной стены слева, падавшей вниз косою перспективой. А позади громоздились кирпичные и выкрашенные в кирпичную краску деревянные дощатые стены, с разбросанными несимметричными жилыми квадратными окнами и окнами фабрики. Разнокалиберные железные трубы с коническими колпаками, расчлененные проволокой, поднимались в закатное небо. В оранжевое, настоящее небо. Толстые суставчатые кишки вентиляционных труб переплетались, проходя под жилыми окошками деревянного дома, которому надлежало быть мансардой, а это просто был деревянный дом с крышей-скворечником, поставленный поверх кирпичного. Целый город был втиснут в этот маленький двор, целый мир, как на картине Прохорова. Как будто все еще продолжался старый спор о красоте. Внизу были кривые крыши сараев и голубятен. И тут Панфилов увидел Его.

Их было трое, но Панфилов увидел Его. Один стоял рядом, другой сидел на кирпичной стене, охватив руками колени. Но Панфилов увидел Его.

Панфилов не знал, кто он такой, но видел его тысячу раз, ког-



...это все не приснилось ему, а вспомнилось под утро.

да-то там, в благушинском детстве. У него было длинное лицо и пренебрежительные глаза, глядящие в небо. На нем была трикотажная полурукавка с вертикальными темными полосками, и он стоял, сутулясь и покачиваясь, заложив руки в карманы и закинув голову вверх. Панфилов не знал, сколько этому человеку лет, не меньше, чем Панфилову, но это была Благуша, и она смотрела в небо.

— Смотри...— сказал он задыхаясь.— Я не соврал.

— Понимаю...

Они все трое смотрели вверх.

Люди шли по улице, проезжали троллейбусы и машины, а Благуша смотрела вверх.

— Почему они смотрят вверх? — спросила она.

— Гляди...

В оранжевом небе металась стая голубей.

— Голубятники,— сказал Панфилов, а больше ничего не мог сказать.

— Какая дикость...— сказала она и нервно засмеялась.

— Почему дикость?

— ...Потому, что я все понимаю.

— Нет, правда?

— Да. Понимаю. Не приставай.

Этот двор был похож на сцену в спектакле и на открытый вольер в зоопарке. А они стояли по ту сторону рва и глядели, как уходит Благуша, по-львиному глядя выше голов зевак.

Нет. Мы были. А раз мы были — значит, мы есть. И это навсегда. Эрго вивамус!

Эрго вивамус — следовательно, мы живем!

...И поднимет весна
Марсианскую лапу,
Крик ночных тормозов —
Это крик лебедей.
Это синий апрель
Потихоньку заплакал,
Наблюдая апрельские
Шутки людей...

Пора было уходить. Через час начинались салюты.

Михаил Леонидович Анчаров

ЭТОТ СИНИЙ АПРЕЛЬ...

Редактор **И. Н. Фомина**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **Ю. Л. Кружков**
Корректор **З. А. Росаткевич**

Сдано в набор 6/XI-68 г. Подписано
к печати 23/I-69 г. Формат бум. 70×108^{1/32}.
Физ. печ. л. 3,5. Усл. печ. л. 4,9. Уч.-
изд. л. 7,04. Изд. инд. ЛХ-427. А02831.
Тираж 50 000 экз. Цена 28 коп. Бум. № 1.

Издательство «Советская Россия».
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграф-
прома Комитета по печати при Совете
Министров РСФСР, г. Электросталь Мос-
ковской области, Школьная, 25. Заказ 759.

28 коп.



Советская Россия



Советская Россия



Советская Россия

